АБДУЛРАЗАК ГУРНА

ПОСЛЕДНИЙ ДАР

в переводе
Виктора Голышева
и Олеси Качановой



THE NOBEL PRIZE · 2021

Последний дар
Абдулразак Гурна

Аннотация
Абдулразак Гурна. Последний дар
1. Однажды
2. Переезд
3. Бегство
4. Возвращение
5. Обряды

Аннотация

Семейная драма о словах, которые мы оставляем напоследок.

Аббас никогда не говорил о своём прошлом. О том, что было до того, как он стал моряком. До того, как встретил любимую женщину Мариам. До того, как зажил спокойной жизнью. Всё это «до» окутано мрачным молчанием. Жена и дети устали задавать вопросы.

Но теперь, после перенесенного инсульта, он прикован к постели. И наступило время рассказать, что же произошло и почему он молчал.

Новый роман английского писателя танзанийского происхождения Абдулразака Гурны — нобелевского лауреата по литературе 2021 года.

ПОСЛЕДНИЙ ДАР

Абдулразак Гурна
Последний дар



Строки

2023

Перевод с английского *Виктора Голышева и Олеси Качановой*

Дизайн обложки и иллюстрация *Ани и Вари Кендель*

Издатель *Евгения Рыкалова*

Руководитель редакции *Юлия Чегодайкина*

Ведущий редактор *Анна Устинова*

Арт-директор *Ольга Медведкова*

Литературный редактор *Любовь Сумм*

Корректоры *Наталья Витько, Вера Вересиянова*

Компьютерная верстка *Антон Гришин*

Продюсер аудиокниги *Елизавета Никишина*

Специалист по международным правам *Татьяна Ратькина*

Copyright © Abdulrazak Gurnah, 2011
First published in 2011 by Bloomsbury Publishing.
Издается с разрешения автора при содействии его литературных агентов Rogers, Coleridge and White Ltd.

© Абдулразак Гурна
© Олеся Качанова, перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. Строки, 2023

* * *

1. Однажды

Однажды, задолго до неприятностей, он украдкой выскользнул из дому и больше не вернулся. А сорок три года спустя упал на пороге своего дома в английском городке. Час был поздний, он возвращался с работы, да и вообще было поздно. Он слишком долго откладывал, и винить было некого, кроме себя.

Он чувствовал приближение катастрофы. Не со страхом перед крушением, который жил в нем с тех пор, как он себя помнил, а с таким чувством, как будто надвигается на него что-то упорное, мускулистое. Это не был удар из ниоткуда, а скорее похоже на то, что какой-то зверь медленно повернул к нему голову, узнал его и двинулся его душить. В голове было ясно, силы вытекали из тела, и в этой ясности он подумал — не к месту, — что так, наверное, умирают с голоду, или на морозе, или когда булыжник вышибает из тебя дух. Он даже поморщился, несмотря на тревогу: смотри, какую мелодраму устраивает усталость.

Он ощущал усталость, уходя с работы, — такая усталость, бывало, наваливалась на него в конце

дня, а в последние годы всё чаще: хотелось сесть и ничего не делать, пока слабость не пройдет или чьи-нибудь сильные руки не поднимут его и не доставят домой. Он состарился — или старел, если сказать мягче. Желание было как будто знакомое, как будто вспоминалось что-то из давнего прошлого — как его подняли и доставили домой. Но он не думал, что это — воспоминание. Чем старше он становился, тем более детскими казались иногда его желания. Чем дольше он жил, тем ближе придвигалось его детство и всё меньше казалось далекой фантазией о чьей-то чужой жизни.

В автобусе он пытался понять причину своей усталости. И пытался уже столько лет разобраться, найти объяснения, которые ослабят страх перед тем, что преподносила ему жизнь. В конце каждого дня он прослеживал свои шаги, пытаясь определить ошибки, из-за которых обессилел к концу, — словно знание этого (или осознание) могло утешить. Во-первых, возраст, изношенность незаменимых деталей. Или утренняя спешка перед работой, хотя никому нет дела, если он опоздает на несколько минут, а его до конца дня будут мучить одышка и изжога. Или заваренная в общей кухне чашка паршивого

чая, после которого бурчало в животе и подкрадывалась изжога. Молоко целый день стояло в кувшине, незакрытое, собирало пыль, поднятую входящими и выходящими. Не надо было трогать это молоко, но он не мог устоять перед соблазном. Или потратил много сил, неумело и без нужды поднимая и двигая тяжелые вещи. Или просто заболело сердце. Он никогда не знал, в какую минуту оно заболит, с чего и надолго ли.

Но сейчас, в автобусе, он чувствовал, что с ним происходит что-то необычное. Накатывала беспомощность, отчего он невольно хныкал, его плоть разогревалась и съеживалась, заменялась неведомой пустотой. Происходило это медленно, дыхание сбилось, он дрожал, потел и видел себя кучкой, человеческим оползнем — тело ожидало боли, растекалось. Он видел себя со стороны, в легкой панике от медленного, неостановимого распада грудной клетки, бедренных суставов, хребта, словно тело и сознание отделялись одно от другого. Резко кольнуло в мочевом пузыре, и он задышал часто, испуганно. «Что с тобой? Припадок? Прекрати истерику, дыши глубже», — приказал он себе.

Он вышел из автобуса, дрожа от слабости, заставляя себя глубоко дышать. Февральский

день выдался неожиданно холодным, и он был одет не по погоде. Люди вокруг были в тяжелых шерстяных пальто, в шарфах и перчатках, зная по опыту, какой холод их ждет на улице, — а он, прожив здесь много лет, как будто не знал. Или, в отличие от него, люди слушали сводки погоды по радио и телевизору и радовались, что у них есть одежда на такой случай. А он из месяца в месяц носил одно и то же пальто, спасавшее от дождя и холода, но и не слишком теплое для мягкой погоды. Он так и не привык набивать шкаф одеждой и обувью для разных случаев и сезонов. Это была привычка к экономии, он мог уже об экономии не заботиться, но расстаться с привычкой не мог. Он любил донашивать вещи, в которых ему удобно, и ему нравилось думать, что если бы повстречался с собой, то узнал бы себя издали по одежде.

В этот холодный февральский вечер он расплачивался за свою умеренность, или скупость, или аскетизм — за что-то такое. А может быть, дело было в беспокойстве, ощущении себя пришлым, не сросшимся с окружением — легко одеться и тут же сбросить всё с себя, когда понадобилось тронуться с места. «Поэтому и холод», — думал он. Неправильно оделся по глупости, и от холода била дрожь — внутренняя, неудержимая, костяк

его готов был вот-вот распасться. Он стоял на автобусной остановке, не зная, что делать, слышал собственный стон и сознавал, что потеряна связь с окружающим, словно задремал на миг и очнулся. Он заставил себя идти, руки и ноги будто лишились костей, и дышал тяжело и отрывисто. Ступни налились свинцом, онемели, от них растекался холод по всему телу. Наверное, надо было сесть, подождать, когда отпустит спазм. Но нет, сесть можно только на тротуар, его примут за бродягу, а то и вообще больше не сможет встать. Он заставил себя двигаться, один трудный шаг за другим. Главное — добраться до дома, пока не иссякли силы, пока не свалился в этой пустыне, где тело его разорвут и разбросают куски. Дорога от автобусной остановки до дома занимала обычно семь минут — шагов пятьсот. Иногда он считал их, чтобы заглушить шум в голове. Но в этот вечер дорога заняла, наверное, больше. Так казалось. Он даже не был уверен, что хватит сил. Казалось, он обгонял кого-то, но временами спотыкался и вынужден был на несколько минут или секунд прислониться к стене. Уже невозможно было понять. Зубы стучали, и, подходя к двери, он обливался по́том. Он открыл дверь и сел в передней, больше не сопротивляясь жа́ру и

тошноте. И какое-то время ничего не помнил.

Его звали Аббас, и приход его был шумным, хотя он этого не сознавал. Его жена Мариам услышала, как он возится с ключами и как захлопнулась дверь, а обычно он входил тихо. Иногда Мариам даже не слышала, как он вошел, и он появлялся перед ней с улыбкой, довольный, что опять застал ее врасплох. Такая у него была шутка — чтобы она вздрогнула от неожиданности его появления. В этот вечер она вздрогнула от звука ключа в замке и в первую секунду обрадовалась, как всегда, его приходу. Но потом хлопнула дверь, и послышался его стон. Она вышла в переднюю: он сидел прямо перед дверью, раскинув ноги. Лицо было мокрым от пота, он тяжело дышал, растерянно моргая.

Мариам опустилась на колени рядом.

— Аббас, Аббас, что с тобой? Ах!

Она взяла его потную ладонь. Как только она до него дотронулась, он закрыл глаза. Он сидел с открытым ртом, тяжело дышал, и промежность у него была мокрая.

— Я вызову скорую, — сказала она.

Она почувствовала, что рука его чуть сжалась, и он со стоном выдавил:

— Нет. — А потом шепотом: — Дай отдохнуть.

Она села на корточки, испуганная его бес-

помощностью, не зная, что делать. Тело его напряглось от приступа боли или тошноты, и она снова сказала: «Аббас, Аббас» и крепче сжала его руку. Немного погодя он почувствовал, что успокаивается.

— Что ты наделал? — сказала она шепотом, ему и себе. — Что ты сделал с собой?

Почувствовав, что он хочет встать, она обняла его одной рукой за плечи, помогла подняться по лестнице. Не доходя до спальни, он снова задрожал, и Мариам, приняв на себя его вес, почти втащила его по последним ступенькам к кровати. Она торопливо раздела его, обтерла мокрые места и укрыла. Почему надо было сперва раздеть его и вытереть и только потом укрыть, она даже не задумалась. Наверное, это было инстинктивное уважение к достоинству тела. Потом легла рядом с ним на одеяло; он дрожал, стонал, всхлипывал и повторял: «Нет, нет», снова и снова. Когда дрожь и всхлипывание затихли и казалось даже, что он стал засыпать, Мариам спустилась и позвонила в неотложную помощь. Врач появилась через несколько минут — неожиданно для Мариам. Это была молодая женщина, Мариам раньше не видела ее в больнице. Она вошла стремительно, с приветливой улыбкой, словно ничего исклю-

чительного или пугающего не произошло. Вслед за Мариам она поднялась наверх, посмотрела на Аббаса и огляделась — куда поставить сумку. Все ее движения были обдуманными, словно она убеждала Мариам не паниковать, и в самом деле присутствие врача Мариам несколько успокоило. Врач осмотрела Аббаса, измерила пульс, прослушала стетоскопом, проверила давление, посветила фонариком в глаза, взяла пробу мочи и опустила туда лакмусовую бумажку. Потом стала расспрашивать его, что случилось, и повторяла вопросы, пока не получала внятного ответа. Манеры и речь ее были вежливыми, заботливыми, но не озабоченными, и она даже находила время улыбнуться Мариам, пока обсуждали, что надо делать дальше, — зубы у нее были ослепительно-белые, а русые волосы блестели в свете лампы. «Как их учат быть такими?» — удивлялась про себя Мариам. Как их научают обращаться с поврежденными телами так спокойно и уверенно? Как будто она имеет дело с испортившимся радиоприемником.

Доктор вызвала перевозку, и в больнице Мариам сказали, что у Аббаса случился диабетический криз — не кома, но достаточно серьезный. Сказали, что это поздний диабет, который развивается

у пожилых. Обычно он лечится, но, поскольку больной о нем не знал и не получал лечения, случился криз. Сейчас трудно определить в точности, насколько серьезны могут быть последствия. Был ли диабет в его семье? У родителей, дядьев, теток? Аббас сказал, что не знает. На следующий день его осмотрел специалист — сказал, что угрозы жизни нет, но, судя по моторике, возможно, есть мозговые нарушения. Пугаться не надо. Некоторые утраченные функции могут восстановиться, а могут и нет. Время покажет. Кроме того, он перенес небольшой инсульт. Регулярное обследование прояснит картину и стратегию лечения, а пока что он останется под наблюдением в больнице еще на день и, если осложнений не будет, может отправляться домой. Был выдан длинный список запретов, прописаны лекарства и домашний режим. Ему шел тогда шестьдесят четвертый год, но дело было не только в этом.

Мариам позвонила детям — Ханне и Джамалу. Рассказала, что случилось, и успокаивала их снова и снова, чтобы они не мчались домой. «Если не будет осложнений, завтра он вернется домой», — сказала она.

— Что значит «осложнений»? — спросила Ханна.

— Так сказал доктор: если не будет осложнений, — ответила Мариам.

Она переняла тон у больничного персонала — там старались соблюдать спокойствие, и, наверное, так было лучше для Аббаса, а если Ханна и Джамал сорвутся и приедут, для него это будет лишним волнением. Она сама работала в больнице и знала, что люди иногда устраивают ненужную суету вокруг больных родственников.

— Его лечат. Говорят, состояние стабильное. Нет, незачем сюда спешить. Он никуда не денется. Конечно, можете приехать и навестить его когда угодно, но мчаться незачем. Приезжайте, когда хотите. Сейчас всё спокойно. Его лечат. Нет, Джамал, ежедневных инъекций не требуется. Сейчас его колют, но это временно. Он будет принимать лекарства, соблюдать диету, и за какими-то вещами я должна постоянно следить. За какими? За трещинами и потертостями на ступнях, за сахаром в крови и прочим. Меня научат. Он поправится. Силы постепенно вернутся. Не волнуйся, всё будет хорошо. Да, да. Приезжайте как-нибудь, навестите его.

Болезнь отняла у Аббаса силы. Даже от небольшого усилия он дрожал, потел и жалобно хныкал. Не мог сесть без посторонней помощи. Вечно

был голоден, но от еды его мутило. Слюна была горькой, изо рта пахло, как из стока. Глотал с трудом, давился едой. Пришла сестра из диабетического отделения, объясняла ему (и Мариам), как он должен следить за собой. Она расписала правила, надавала брошюрок и советов и, ворча, удалилась. Он еще больше обессилел от ее визита. Даже через несколько дней он все еще не мог самостоятельно пройти несколько шагов до уборной, и, уходя из дому, Мариам ставила ему на всякий случай пластиковое ведро. Однажды он им воспользовался и сидел на нем, как маленький, кряхтя и стеная, пока опорожнялось тело, в стыде за растраченную и лживую жизнь. Потом он не мог подмыться, как обычно. Он так и не привык пользоваться бумагой и чувствовал себя испачканным, взбираясь в постель, ощущал засохшее вещество в заду. Иногда он забывался сном или уносился в какие-то глубокие безмолвные места, уносился беспомощно в ненавистное. Даже в забытьи он сознавал, что слишком долго откладывал, как сознавал наяву все годы. Ему о стольком надо было рассказать, но он укрылся молчанием и теперь закаменел в нем. Иногда ему казалось, что он уже ушел, что до него не достать, он висит на тонкой веревке, катушка

разматывается и сам он растворяется постепенно. Но он не умер, он просыпался и вспоминал иногда повторявшийся сон в бытность его моряком: во сне он висел на веревке, растворяясь в набегавшей воде.

Немного окрепнув, он сделался раздражительным, злился на свою слабость, а выражалось это в сердитых упреках жене. Слова его ранили Мариам, но он не мог сдержаться. Порой ему бывало невыносимо, когда она входила в комнату, болтала о чем-то, что-то искала в шкафу или в тумбочке, трогала его лоб ладонью, приподнимала его, чтобы сменить подушки, приносила ему из кухни радио. «Оставь меня в покое. Перестань суетиться». А иногда невыносимо было ее отсутствие, ее отлучки, и он плакал от жалости и отвращения к себе. «Я этого не вынесу. Больше не могу выносить». Он был грешным странником, захворавшим в чужой земле, после жизни такой напрасной, напраснее которой быть не может. Говорить не давала боль в груди, объясниться мешала усталость. Слова не складывались осмысленно, он видел это по недоумению на ее лице. Он не мог заставить себя говорить так, чтобы ей было понятно. Он хотел, чтобы его оставили одного, но, когда пытался сказать это ей, выплевывал

только ругань и плакал от бессилия.

Но сил прибавлялось. Он мог сам спуститься по лестнице и при надобности подняться обратно, только медленнее. Мог уже глотать свободно и привыкал к новой диете — оказалось, не такой уж трудной, если не считать запрета на сахар и соль. Сказал ей, что сможет обходиться сам. А ей пора выйти на работу. Он не инвалид, просто немного ослаб. Если не торопиться, он справится самостоятельно.

Через три недели она вышла на работу, для него это было облегчением, хотя целый день не с кем было перемолвиться словом. Он пробовал читать, но не мог сосредоточиться, и руки уставали держать книгу. Но он уже немного окреп и, когда поправится, поговорит с Мариам обо всем, что скрывал от нее.

Мариам работала в больнице, но не делала ничего героического, жизни не спасала. Она работала в столовой для персонала и посетителей и поняла, что если еще задержится с выходом на работу, то потеряет место. Об этом ей сочувственно сказала по телефону заведующая столовой, когда она хотела отпроситься еще на две недели. Конечно, за свой счет — всего две недели, убедиться, что Аббас справится самостоятельно. Но заведующая

сказала: нет, извини, рабочих рук не хватает. Мариам работала здесь давно, заведующая тоже, но времена были трудные, рабочих мест мало. Ни заведующей, ни ей деваться было некуда. Мариам с ее квалификацией не на что было рассчитывать. Она работала в больнице двадцать лет: сначала уборщицей, пока не появились дети, — тогда они решили, что посидит дома с ними; а потом, когда дети подросли, устроилась в столовую больницы. Она часто думала, что надо бы заняться чем-то другим, более интересной работой, чтобы больше уважать себя и, наверное, больше зарабатывать, но так ничего и не поискала. Когда заговаривала об этом с Аббасом, он кивал или мычал согласно, но никак ее не поддерживал. Она не представляла себе, какой может быть более интересная работа, наверное, и он не знал. Всю жизнь она занималась теперешней и знала многих в больнице. Работники приходили и уходили, но небольшая группа держалась с давних времен. Мариам не хотела потерять место, тем более когда Аббас в таком состоянии. Не могла она сказать заведующей: «Подавись этой жалкой работой, я терпеть ее не могу. Найду место в банке». Ничего такого она не могла сделать. И она привыкла к тому, как работа наполняла ее жизнь. Так она жила всю

жизнь, всегда довольствуясь малым, всегда поступая так, и теперь было поздно выламываться, рисковать. Для этого у нее никогда не было сил.

В первые дни на работе она не могла отойти от потрясения из-за того, что случилось с Аббасом, — он почти никогда не болел, а теперь был слаб, потерян, без всякой причины плакал и всхлипывал. Особенно тяжело было думать об этом в его отсутствие. Когда он был рядом, она могла отвлечься домашними хлопотами, хотя временами мучительно было даже приближаться к нему. А в его отсутствие он являлся ей отрывочно, в тяжелых эпизодах, которые она не могла выгнать из памяти. На работе спрашивали о нем, она отвечала кратко, по возможности оптимистическими сводками. Сводки помогали ей свести потрясение к чему-то более обыденному, свести происходящее к обычным драмам. У кого не было отца, или сестры, или мужа, или соседа, борющегося с долгой болезнью или ожидающего трудную операцию? После своих сводок она выслушивала таких коллег, и вместе им удавалось сделать трагедии чем-то переносимым, они винили в беде врачей, судьбу, себя нескладных. Так было легче. Это были не такие друзья, каким захочешь открыть душу. Таких у нее и не было,

кроме Аббаса. Она боялась, что если заговорит откровенно, то хлынет поток пустого сочувствия, а большего, она полагала, бессмысленно ожидать от сослуживцев. Да, вероятно, и от нее самой, если бы кто-то из них захотел излить душу. Достаточно человеческого отношения и глубоко не закапываться — достаточно.

Не хотелось думать, как он там сейчас. Не думать хотя бы несколько часов в день — но не удавалось. Нехорошо оставлять его одного на весь день, но врач говорила, что он поправляется и попробовать стоит. Лекарства действуют, он окрепнет. «Не хлопочите над ним всё время, — сказала она, — пусть понемногу привыкает к самостоятельности». И он сам сказал: «Перестань хлопотать». Она понимала, что он хочет побыть один дома, в тишине, помолчать. Но нехорошо, когда он сам не может справиться, проливает что-то, пачкается, целый день сидит и плачет в одиночестве. Ее обижало, что он грубо с ней разговаривает, чего не бывало прежде, — но надо привыкать. Он нездоров, и вообще, хлопотать она будет столько, сколько надо, — как же иначе?

Это их лечащий врач, доктор Мендес, сказала: «Не хлопочите над ним всё время, пусть привыкает к самостоятельности», — хотя сама была

хлопотуньей, каких поискать. С Мариам она разговаривала всегда строго, с тех еще давних пор, когда Мариам впервые привела к ней детей. Ее инструкции следовало выполнять досконально, а в диагнозах часто сквозил упрек, как будто вина лежала на Мариам. Доктор Мендес была испанка и очень упрямая, на взгляд Мариам. Она была одних лет с Мариам, пользовала их уже много лет и, матерея с возрастом, походила теперь на женщину-борца. Может быть, Мариам была сама виновата, что допустила в обращении с собой грубый тон, но врач разговаривала с ней так, как будто она и за собой плохо следит. Когда у Аббаса определили диабет, она и его отчитала за беспечность. Пожилые считают ниже своего достоинства проверяться у врача, пока не произойдет с ними что-то страшное, и тогда они становятся для всех обузой. В его возрасте он должен был регулярно делать анализ крови — у него давно бы нашли диабет и занялись его сердцем. Теперь их детям придется делать анализ крови как минимум ежегодно. Это наследственная предрасположенность. Хорошо еще, что Аббас был так слаб: будь он покрепче, он не потерпел бы такого тона, даже в разговоре с врачом. Пока упрямая испанка отчитывала Аббаса, Мариам

показалось, что на лице его мелькнула проказливая улыбка, — насмешливый комментарий он приберегал до той поры, когда будут силы, подумала она.

Она вспоминала его таким, каким он был много лет назад, когда они познакомились в Эксетере. С тех пор как он заболел, вспоминала часто — мужчину, с которым познакомилась семнадцатилетней, — не сравнивая, не огорчаясь, что он теперь не такой, а с удовольствием. Образ возникал вдруг, и она улыбалась. И, может быть, скорбела о том покое, который исчез навсегда.

Впервые она увидела его в Бутсе, в Эксетере, так давно, будто в воображаемой жизни. Они стояли в очереди, и он улыбнулся. Люди не всегда улыбались, встретив ее взгляд, — так ей, по крайней мере, казалось. Чаще всего она отворачивалась до того, как могла прочесть что-то в их глазах; может быть, они и улыбались вдогонку, но в те времена она боялась наткнуться на презрительный, насмешливый взгляд и предпочитала не видеть. Он был поджарый, сильный, темнокожий, в свитере с высоким воротом и джинсовой куртке. В очереди он стоял впереди нее, поглядывал из стороны в сторону, и она могла хорошенько его разглядеть. Потом он оглянулся назад, увидел ее, посмотрел

еще раз и улыбнулся. Улыбка эта была ей приятна — как будто он увидел знакомую и оба они знали что-то, чего не знали остальные. Она не удивилась, когда выяснилось, что он моряк. По нему было видно, что он много где побывал, занимался разным и знал, что такое свобода. Она родилась в Эксетере, больше нигде не бывала, ничем не занималась. В то время она жила с Феруз и Виджеем, и жилось ей уже трудновато. Вспоминая Феруз и Виджея, она невольно морщилась даже спустя столько лет и расправляла плечи, мягко оттесняя воспоминания.

Еще ничего не зная об Аббасе, а только глядя на него, она чувствовала, что у него за плечами всякое. Такое у него было выражение глаз, недобрый взгляд, говоривший: «Я это смирно не приму, всё равно, что вы там задумали». Надо было признать, что взгляд был недобрый. Узнав его лучше, она увидела, что выражение это у него не всегда, а только когда ему не нравится то, что он видит или слышит, когда заподозрил, что к нему отнеслись неуважительно. Этого он всю жизнь не выносил, иногда до глупости. Случалось, взгляд его был горящим, огонь в глазах, лицо сердитое и решительное, словно в мыслях он пребывал где-то не здесь. Но, за исключением таких вспышек,

глаза у него были большие и спокойные, как у человека, который любит видеть, и при первой встрече она подумала, что этот человек любит делать людям приятное.

Да, таким она его навсегда запомнит, пока жива память, — худощавым, беспокойным мужчиной, который повстречался ей в год окончания школы. Тогда она работала в кафе и такой же работой занимается, вот, всю жизнь. Она думала тогда, что, если заработает денег, то съедет от Феруз и Виджея и поселится с какой-нибудь из подруг по работе. Но денег было мало, работа тупая, хотя товарок она любила. Это важно было в ту пору, хотя жизнь не баловала — работать среди людей, с которыми ладишь, готовых смеяться по любому поводу, как будто вся их жизнь — дурацкая шутка. Позже она нашла лучше оплачиваемую работу на фабрике — тогда-то она и увидела Аббаса снова. Она по-прежнему захаживала в свое кафе — выпить чаю, повидать бывших подруг, — и всегда её там угощали бесплатным пирожным. Там и увидела его второй раз. Он взглянул на неё и узнал. Постоял в нерешительности, она ему улыбнулась, и он подошел. Еще на миг задержался с подносом и сел.

— Бутс, — сказал он с улыбкой.

— Приятно познакомиться, мистер Бутс, — сказала она, и оба рассмеялись.

Они немного поболтали, потом он попрощался и сказал: «Надеюсь, еще увидимся». Он назвал свое имя и сказал, что работает на судах. Она тоже назвалась и сказала, что работает на фабрике. Даже этот обмен сведениями почему-то показался забавным. Она знала, непонятно почему, что они снова встретятся. Ей не запомнилось, что говорил он и что говорила сама, сохранилось только ощущение от встречи, трудно определимое — волнение, предчувствие. Запомнилось, как он смотрел на нее, удовольствие в его глазах и чувство, которое вызывал у нее этот взгляд.

А третий раз они встретились — в счастливый третий раз, говорил он, потому что счастливым всегда бывает третий, — на фабрике. Было такой неожиданностью увидеть его там, и по его лукавой улыбке она поняла, что это не было случайным совпадением. Он сказал, что устроился здесь на работу, потому что хотел отдохнуть от моря. Он приехал в Эксетер на несколько дней к другу, и ему так понравилось, что решил побыть тут еще. А пока что устроился на фабрику — человек должен работать или будет обузой для других. Он подолгу торчал у ее рабочего места;

в конце концов бригадир прогнал его, но он все равно приходил поболтать. Бригадир, тощий крысеныш, расхаживал с воинственным видом, ища, к чему бы придраться, и всех донимал. Аббас немедленно стал для него раздражителем и лишь через несколько дней научился избегать его внимания. Работа его была — снабжать необходимым несколько линий сборки, поэтому, когда ничего не требовалось, он мог свободно разгуливать, очаровывая работниц и стараясь не попасться на глаза бригадиру. Он проводил ее до дома, продолжая болтать, смешил ее и бессовестно ей льстил. Она понимала, что за ней ухаживают, и потом лежала в темноте, взволнованная происходящим. Так они ходили всю неделю, болтая, в третий день взявшись за руки, поцеловавшись на прощание в четвертый вечер, а в субботу легли в постель. Для нее это было в первый раз. Она сказала ему об этом заранее, на всякий случай. Она не знала толком, что может произойти, но слышала, что там что-то может прорваться, и пойдет кровь, пусть он знает. Он спросил, уверена ли она, что хочет, и она сказала: «Да». Он был такой красивый…

Мариам хотелось остановиться на этих воспоминаниях, представить себе Аббаса, какой он был красивый, когда они познакомились, но от-

влекало присутствие Феруз поблизости. Она всё еще жила у Феруз и Виджея, а им не нравилось ее знакомство с Аббасом. Сначала не нравилось, что у нее завелся друг. Потом не нравился его возраст — в отцы ей годится. «Ему двадцать восемь лет, — ответила она, — так он сказал». Потом не нравилось, что он моряк. «Они все буйные и безответственные, — сказал Виджей. — Пьяницы. Он тебя просто использует. Таким только одно от тебя надо».

Это был ужасный вечер. Она должна была встретиться с ним у кино, но ее не отпустили и говорили с ней так встревоженно, что она не осмелилась уйти. А утром, когда все еще спали, собрала кое-что из одежды в хозяйственную сумку и пошла к нему, к Аббасу, туда, где он жил с другом. Наверное, он догадался, что она придет, что ее не отпустили вчера вечером. Было раннее утро, он стоял у окна, ждал ее и, как только увидел, сбежал вниз и привел ее в квартиру.

— Что у тебя случилось? — спросил он, введя в дом, и тихо, чтобы не разбудить товарища, закрыл дверь. — Я подумал… подумал, что ты больше не хочешь меня видеть.

— Меня не отпустили, — сказала она, и, несмотря на напряженность ситуации, ей было радостно

видеть его волнение.

Мариам рассказала ему о домашних спорах и обидах, и он сказал: «Давай уедем отсюда». Она ответила: «Давай». Она была рада убраться подальше от этих ссор, уехать, забыть о них. Не знала только, имеет ли на это право, или Феруз и Виджей могут ее вернуть. Поэтому, когда Аббас сказал: «Давай уедем отсюда», она ответила: «Я с тобой, едем». Это был восторг — не задумываясь, прочь от опостылевшей стесненной жизни.

Увидев его недвижное тело у двери, она подумала о смерти — его смерти и своей. Позже она задумалась о своей жизни без него, о ее начале и бесконечных нежданных ее поворотах. О ее появлении в мире, о начале, рассказала Феруз. Ее нашли — подкидыша — перед дверью скорой помощи в больнице Эксетера. Ночной вахтер, чье имя никто не удосужился запомнить, вышел посмотреть на зарю и выкурить сигарету и увидел под ногами кулек. Он был завернут в вышитый кремовый платок, к которому был пришпилен коричневый конвертик, — как ярлычок или адрес доставки. Увидев, что в свертке младенец, вахтер, может быть, улыбнулся или задумался: то ли внести его в тепло, то ли вызвать кого-то, кто решит, как поступить. Сёстры частенько раздра-

жались, когда он пытался помочь, — как будто он мог что-то сломать, или повредить пациенту, или просто окажется неловким. Так и не закурив, он отложил сигарету и пошел сообщить другому дежурному. Они вызвали старшую сестру; она подхватила и внесла сверток: Мариам представляла себе, что она осуждающе посмотрела на вахтеров, а они переглянулись — что ей не так?

В день ее драматического появления она была крохотная, весила не больше четырех фунтов, и возраст ее был не больше двух-трех дней. Осмотрев ее, врач сказал, что за ней хорошо ухаживали, а мать ее, судя по весу ребенка, вероятно, совсем молоденькая, но это лишь предположение. Мариам пыталась представить себе, какие лица были у доктора и старшей сестры, когда они обменивались впечатлениями. Каким словом они могли охарактеризовать ее юную мать в то время: «дурочка», «дрянь», «потаскуха»? Таких подробностей ей не сообщали, и приходилось добавлять несколько мазков, достраивать картину самой. Насчет вышитой кремовой шали, например, она не была уверена: то ли ей так рассказали, то ли она сама это домыслила. Такая вышитая шаль была у ее собственных детей, и порой, заворачивая их, она думала: «как моя мама», с нежностью

к отсутствующей.

Между тем, пока доктор осматривал младенца, старшая сестра позвонила в полицию — вдруг мамаша еще где-то поблизости. Она подумала, что шаль сейчас нельзя трогать: могут сохраниться какие-то следы, которые помогут полиции в розыске. Неизвестно, какой ужас стоит за такими происшествиями. Вероятнее всего, незамужняя мать подкинула ребенка, чтобы избежать позора, или от отчаяния при мысли об одиноком презираемом материнстве, но возможно, что оставил ребенка кто-то из родственников, а не мать, или кто-то, желавший ей навредить. Во всяком случае, кто бы это ни сделал, это было преступлением. «Акт о преступлениях против личности от 1861 года», — сказала ей Феруз. Она сама его читала.

Полиция явилась немедленно, но не смогла найти мать или кого-то, кто оставил ребенка у больницы. На конверте не было адреса, а внутри — листок линованной бумаги, страница из школьной тетради. На нем было написано: *Ее зовут Мариам, мне не позволили ее оставить*. Судя по имени и цвету кожи девочки, мать ее была иностранка или, по изящному выражению той эпохи, цветная. Полиция знала, что в отноше-

нии незамужних матерей у некоторых пришлых больше предрассудков, чем у христиан, и порой из стыда они жестоко обходятся с дочерьми. Так что первой задачей полиции было обойти семьи иностранцев в городе и навести там справки. Сделать это было тем проще, что такие семьи были немногочисленны — шлюзы еще не открылись. Однако на платке были обнаружены светлые волосы, да и у ребенка волосики были светлые; впрочем, это не такая уж редкость, с возрастом они чернеют. Так что, возможно, иностранцем был отец ребенка и, сделав молоденькую девушку матерью, бросил ее, а родители, в свою очередь, заставили ее бросить новорожденную.

Полиция провела расследование, подозреваемые были, но определенно установить личность матери не удалось. Если бы с этим происшествием было связано другое преступление, расследование провели бы тщательнее, но тут был заурядный случай: девица расплатилась за свое легкомыслие, и, по всем данным — в сущности, лишь слухам, — наиболее вероятной подозреваемой уже не было в Эксетере. Мариам отдали приемным родителям. Датой ее рождения определили 3 октября 1956 года.

Приемными родителями стали мистер и мис-

сис Риггс — пожилая чета, уже воспитывавшая двух маленьких девочек. Мариам всегда думала о них как о маме и папе, хотя прожила с ними всего несколько первых лет. Ей дали их фамилию: она стала Мариам Риггс. Самыми ранними были воспоминания о жизни с ними и комнате с двумя маленькими девочками.

Мать их была высокая, полная, медлительная женщина с родинкой на щеке. Родинка была большая, иногда мать расчесывала ее, кожа вокруг краснела и воспалялась. Разговаривала она с ними добрым, ворчливым, монотонным голосом, разговаривала всё время, даже когда оставалась одна. Когда сердилась, голос становился резким, слышать его было больно, он как будто ранил. Начав, долго не могла остановиться и даже от короткого слова или вздоха в ответ заводилась снова. Она кормила их тушеными овощами, разбавляла молоко водой из экономии, готовила им сладкие запеканки на нутряном сале и каменные оладьи. Называли они ее Мамой.

Дом был холодный. Они носили по несколько одежек, у Мамы платья были до щиколоток. В них она выглядела как женщина другой эпохи, и Папа иногда называл ее королевой Викторией. Детей она стригла коротко, чтобы не завелись,

как она их называла, гниды. Купала раз в неделю, в мелкой оцинкованной лоханке, всех в одной воде, которую грела в кастрюлях. У Мамы были большие руки, она терла детей жесткой фланелевой тряпкой, стоя на коленях, на каменном полу, иногда с сигаретой во рту. Камин был только в одной комнате. Кухня нагревалась только готовкой и кастрюлями для купания; вода быстро остывала, поэтому мылись на скорую руку. Папа мылся после них, поэтому надо было успеть, пока вода для него не совсем остыла. После купания дети бежали наверх, скорее под одеяло. Рассказывая об этом купании своим детям, Мариам улыбалась и объясняла, что это было отчасти забавно.

Их отец работал в магазине ковров неподалеку и часто заглядывал домой. Прежде он был водителем фургона в этом магазине, но в войну был ранен во время бомбежки и теперь водить машину не мог из-за плохого зрения. Под правым глазом у него тянулся, как туннель, толстый шрам. Теперь магазин держал его для разных работ: он подметал, занимался мелкими починками и вообще помогал, где требовалась помощь. На работу он ходил в костюме и в галстуке — костюм был в елочку, старый и единственный. Мариам не догадывалась тогда, что папу держали

на работе из доброты и жалованье он получал, наверное, маленькое. Всё это она сообразила позже, вспоминая его.

Дома папа вечно что-то чинил, рукодельничал, по его выражению, и курил трубку. Дома ее звали Мери, и она только гораздо позже узнала, что ее имя Мариам. Старшую девочку у них звали Мэгги. Ее имя постоянно было на устах у Мамы: принеси то, прекрати это, ты плохо кончишь, это точно. Вторую девочку звали Джилл, она была хворая. Детям разрешали сидеть в общей комнате после чая, когда родители слушали радио. Папа любил посадить кого-нибудь из девочек на колени, гладил их, целовал в щечку и называл их мальками. В семь часов вечера их отправляли спать, даже если светило солнце. Она не помнила, чтобы ее хоть раз шлепнули или отчитали, а с Мэгги это бывало — за то, что огрызалась или совала нос не в свое дело. Мама говорила, что нет ничего хуже любопытства. От любопытных все неприятности на свете.

Туалет с унитазом был снаружи, прямо за домом. Дверь туалета не подходила к раме. Над дверью и под ней были широкие щели, и Мариам помнила, как ранним утром в унитазе бывала корка льда. В туалете стоял звериный запах, как

будто там жило какое-то животное, и в темное время она боялась туда заходить. Когда ей было пять лет, двух других детей отдали. Мама объяснила, что их удочерили и теперь у них свои семьи. Другие родители. Она спросила пятилетнюю Мариам, хочет ли она остаться здесь навсегда. Мариам сказала, что хочет. На самом деле она не понимала, о чем ее спрашивают. Ей не приходило в голову, что кто-то может жить по-другому, чем она с мамой и папой. Не приходило в голову, что ее могут забрать от них куда-то.

Но когда мама и папа попросили оставить ее у них навсегда, им было отказано ввиду их преклонного возраста. Мама ворчала из-за этого целыми днями, объясняя Мариам глупость людей, решивших, что ей с папой по возрасту поздно удочерить одного ребенка, ребенка, которого они любят как родного, — а когда они растили троих как родных, оказывается, было не поздно. Папа сказал, что он потрясен. Он всегда говорил так, когда происходило что-то несуразное. Они подумали даже обратиться в суд, но, когда эта мысль у них возникла, Мариам уже забрали от них: социальные работники сказали, что эта история расстраивает ребенка. Так она потеряла маму и папу. За ней приехали на машине мужчина и

женщина и забрали ее, она ничего не поняла, потому что мама разговаривала с ней как обычно, как будто ничего странного не происходит.

Теперь ее воспитывали в другой семье. Об этой она мало что помнила. Она думала, что с другим их ребенком произошло что-то плохое: мальчик был старше ее, часто дрожал, как будто его знобило. В доме у них тоже было холодно, но еще и пахло. Окна никогда не открывались, и плохо пахли постели. Её новый отец был крупный мужчина, и, если она попадалась ему под ноги, он грубо ее отпихивал. Однажды он выплеснул в нее пиво из-за того, что она плакала. Мать была худая, с длинными волосами, вечно подгоняла и дергала обоих детей и говорила, что они посланы ей в наказание. Когда Мариам вспоминала детство, ей казалось, что она прожила с ними совсем недолго, но впоследствии, подсчитав аккуратнее, поняла, что не так уж мало — при них она пошла в школу. Может быть, ей просто не хотелось вспоминать.

Это время помнилось совсем плохо. Она жила в других семьях, но воспоминания были смутными. Где-то ее били, это она помнила, а как-то раз заперли одну в комнате на всю ночь — семья ушла куда-то. Может быть, и не на всю ночь,

но она в конце концов уснула на полу. Утром, когда проснулась, дверь была отперта. Она часто плакала, звала маму и папу, но так их и не разыскала. Ее отдали в другую семью, где было двое родных детей ее возраста. Мать была темнокожая и попросила темнокожего приемыша — ей отдали Мариам, всё больше темневшую. А Мариам по-прежнему часто плакала («Ты уже не маленькая», — говорила ей приемная мать) и не хотела играть с ее родными детьми. Она ходила уже в среднюю школу, и ее постоянно обижали. Однажды она ударила приставшую девочку. Учительница поставила им на стол вазу с цветами для рисования, но соседка всё время передвигала вазу, корябала на ее бумаге и говорила, что от нее пахнет. Девочка плюнула в нее. Мариам выхватила у нее из рук вазу с водой и цветами и бросила ей в лицо. Учительница посадила Мариам в коридоре дожидаться матери. Мать сказала, что больше не хочет терпеть ее дома, и для исправления ее отдали в другую семью.

Угодить этим родителям было невозможно. У них была родная дочь, на год старше Мариам. Ее звали Вивьен, она следила за Мариам и доносила родителям, когда та нарушала какое-нибудь из множества родительских правил. Отец был

учителем, устраивал ей контрольные по чтению и умственному развитию и говорил, что она отсталая. Он установил для нее расписание, чтобы улучшить ее обучаемость, и задавал домашние работы. Дочь докладывала о любом нарушении режима, но перед этим сама отчитывала Мариам за глупость, щипала и шлепала. Мать учила ее, как вести себя за столом, где держать руки, когда ложишься спать, и тщательно подтираться, чтобы не пачкать трусики. В итоге семья так и не смогла ее полюбить, хотя Мариам прожила у них больше года. Они старались, но исправить ее не могли и отправили обратно.

К этому времени Мариам исполнилось девять лет и она вполне сознавала свою никчемность. Поэтому, когда ей нашли новую приемную семью, где новая мама называла ее Мариам, гладила по головке и говорила, какая она милая девочка, она решила изо всех сил стараться быть милой, чтобы новая мама ее никогда не разлюбила. Ей выделили отдельную комнатку, новая мама украсила ее картинками животных и повесила на нитке над кроватью алую с золотом бабочку. Это была худенькая улыбчивая женщина с булькающим смехом. При звуке его Мариам сама начинала смеяться. Мама была медицинской сестрой, а

новый отец — электриком в той же больнице. «Это психиатрическая больница — понимаешь, что это значит?» Так с ней разговаривали с самого начала. Сколько помнила Мариам, с ней никто так не разговаривал, не ждал от нее вопросов, не старался всё объяснить. По крайней мере, так ей хотелось помнить маму — человека, разговаривавшего с ней не так, как все другие, и ожидавшего от нее любознательности. Звали ее Феруз, и родом она была с Маврикия, так она сказала. А мужа звали Виджей, он был родом из Индии. Феруз достала атлас, показала, где Маврикий, рассказала, как остров получил название, что он когда-то был необитаемым, кто живет там теперь и чем они занимаются. Потом показала, где Индия, показала город, откуда Виджей родом, вернее, город, ближайший к деревне, где он родился. Словом, показала карту, рассказала о местах, про которые Мариам никогда не слышала, дала какое-то представление о большом мире.

И многое рассказала об их жизни. Виджей сильно хромал: в детстве он попал под машину, и у него что-то неправильно срослось. Из-за религии родители решительно противились их женитьбе. Ее родные были истовыми мусульманами, видными людьми на Маврикии и запретили ей

выходить за индийца, а у Виджея — темными крестьянами, и они слышать не хотели о мусульманке. Может быть, дело облегчилось бы, если бы они завели детей, но они не могли. Может быть, они слишком обидели родителей, а без их благословения им не дано было родить. Но теперь у них была милая девочка, и они даже вспоминать не хотели о своих тяжелых семьях. Они сами будут семьей.

Такова была история Феруз, и Мариам рассказала ее своим детям. Рассказала не всё — не о том, как поломалась жизнь и она навсегда потеряла Феруз и Виджея. Она не знала, как говорить о некоторых вещах с детьми, еще не взрослыми. Историю свою она заканчивала рассказом об их отце. Он был тогда матросом, приехал в Эксетер повидаться с другом. Когда познакомился с Мариам, устроился на работу, чтобы быть поближе к ней, но Феруз и Виджей его невзлюбили, и они решили сбежать. «Yallah, давай уедем отсюда», — так он ей сказал. Такова история их любви. Так она ее рассказала. Они встретились и сбежали, и больше он не возвращался в море. Детям понравились эти слова: «Yallah, давай уедем отсюда», — и они иногда говорили так в шутку.

Кода появилась Ханна, Мариам хотела свя-

заться с Феруз, но не смогла ее найти. На письма ответа не было, а однажды, когда набралась храбрости позвонить, телефон молчал. Она пожалела, что так долго откладывала.

Он потихоньку выздоравливал, и у них постепенно складывался новый распорядок. Конечно, какой-то распорядок был всегда, он менялся с годами, как менялась их жизнь. Так бывает, когда вместе стареют, — шаркаешь, уступаешь пространство, учишься быть удобным — если тебе повезло. Может быть, она всерьез не думала, что они стареют вместе. Себя она старой не чувствовала и Аббаса не воспринимала как старика, хотя многие признаки явно говорили о возрасте, даже еще до болезни. Не из-за старости им стало уютно друг с другом. Скорее это привычка жить вместе, когда нет нужды что-то обсуждать, а о чем-то вообще заговаривать не надо — из вежливости, чтобы не потянулось за этим другое. Она видела людей, приходивших в больницу, семейные пары, такие усталые, побитые жизнью, что непонятно было, кто из двоих больной. Вот он хлопочет над ней, поддерживает, когда она спотыкается на неровной плитке, а потом она терпеливо ждет, пока он решает, идти им прямо или налево или спросить у кого-то дорогу. Потом

она делает шаг, берет его под руку, они достигают какого-то согласия и движутся дальше.

Утром она вставала первой, как всегда, спускалась в кухню и заваривала чай. Чай пили в постели, почти молча, порой задремывая на несколько секунд. Она любила эти тихие минуты наедине, неторопливость; иногда он обещал, что на будущей неделе первым встанет и заварит чай. «Да, — соглашалась она, — когда окрепнешь». После чего вставала, умывалась и живо спускалась вновь — приготовить себе завтрак и собраться на работу. Так было у нее всегда: минуты покоя, а потом суматоха, спешка — история ее жизни, она не умела держать ровный темп. Накрывала ему стол: он завтракал позже. Даже когда был здоров еще, перед работой выпивал только чашку чая и перед уходом прихватывал яблоко или грушу — привычка к экономии с ранних лет. Она знала, что, спустившись, он отставит тарелку и приборы в сторону и нальет себе чай. К ее уходу он уже поднимется с кровати, вымоется, оденется и сядет в гостиной с какой-нибудь книгой. Когда он немного окреп, это снова была «Одиссея», и она уходила, думая, что скоро закончится этот вынужденный отпуск и он выйдет на работу. Иногда утром он выходил купить газету, но читать о том,

что творится в Ираке, было для него невыносимо, так что чаще он просто выходил пройтись.

Однажды субботним утром, разбирая только что купленные в супермаркете продукты, она услышала какой-то тихий звук в гостиной, еще успела подумать, что он уронил книгу, но тут же послышался его сдавленный голос: «Ох, yallah». Она побежала туда — он лежал в кресле и тяжело дышал. Лицо было искаженно от боли, тело завалилось вбок, и его трясло. Она сделала, как учили, — разжала зубы ложкой убедиться, что не проглотил язык. Потом позвонила в скорую помощь, уложила его на пол, чтобы легче было дышать, готовая сделать искусственное дыхание изо рта в рот. Когда приехала скорая, он был без сознания, но дышал сам. В машине на Мариам навалился страх, уже хорошо знакомый. Он умрет.

Ханна и Джамал приехали в тот же день, и все они услышали от врачей, что у Аббаса инсульт и оценить его тяжесть можно будет лишь через несколько дней. Сейчас ему дают снотворное, чтобы организм частично восстановил равновесие, но пока непосредственной опасности для жизни, вероятно, нет. Втроем они пошли посмотреть на него. Он как будто усох — худой, темнокожий, с трубками в ноздрях и у локтя, но дышал само-

стоятельно. «*Он не умрет*», — твердо подумала Мариам. «Он не умрет». Она хотела сказать это детям, но они, наверное, и не догадывались, насколько близко прошла угроза.

Врач их успокаивал. Возможно, для детей Аббас выглядел еще непривычнее, чем для нее, — последний раз они видели его еще до болезни — и ее, и его не навещали несколько недель и, вероятно, представляли их себе здоровыми и благополучными. А может, это всё ее сентиментальность — полагать, что дети наивнее, чем на самом деле. Может, они нисколько не были удивлены, когда стояли у кровати отца и скептически слушали ее заверения, что он поправляется. Они прекрасно знали, сколько ему лет, и втайне ужасались тому, что может ждать их впереди.

Домой они вернулись мрачными, но потрясение сблизило их, как подобие траура. Они пошли за Мариам на кухню и, пока она готовила ужин, говорили о папе, вспоминали его чудачества. Потом Джамал ушел в гостиную смотреть их древний, как он выражался, телевизор.

— У тебя есть в доме выпить? — спросила Ханна, заглянув в несколько кухонных шкафов.

Мариам кивнула на крайний справа и посмотрела на дочь, повернувшуюся к нему с решитель-

ным видом. Ханне очень хотелось выпить. Ей было двадцать восемь лет, она уже пять лет учительствовала, а теперь собиралась уйти с работы и переехать со своим другом Ником в Брайтон, где он получил место преподавателя в университете. С каждой встречей Ханна казалась матери всё более уверенной: голос, взгляд, манера одеваться, как будто всякий раз это определялось сложным выбором. Да, конечно, без выбора не обойтись, но казалось, что дочь сознательно переделывает себя из той, какой она себе не нравится. Мариам замечала, что и речь ее меняется, прежний голос уходит, и уже звучит другой, тоже теплый (по большей части), но с нотками вызова и светскости, чего раньше не было. Теперь это был голос молодой англичанки, делающей карьеру. «Не так ли и другие родители присматриваются к своим детям, — думала она, — наблюдают, как они превращаются в мужчин и женщин, и учатся вести себя с ними осторожнее? А сами дети — что они думают, глядя на нас? Как с нами трудно, какие мы скучные, какими несостоятельными оказались?» У нее самой не было родителей (настоящих), не было семьи, и невозможно было сравнить то, что она знала теперь, с тем, что знала прежде. И Аббас никогда (почти никогда)

не вспоминал родителей, так что ей оставалось только гадать, додумывать.

— Теперь ему придется уйти на пенсию? — сказала Ханна и отпила из бокала. — Ты сумеешь собрать документы, или тебе помочь?

— Да-да, ему придется уйти, — ответила Мариам.

Если останется жив. Вопросы были заданы из лучших побуждений, но в разговорах с матерью Ханна держалась какого-то настойчивого тона, словно у той плоховато с памятью.

— Подождем, что скажет доктор. Но думаю, скажут, что пора на пенсию, — продолжала она.

— Хорошо, сообщи, если понадобится моя помощь, — сказала Ханна. Она подошла к матери и обняла ее. — Ник шлет тебе привет. Жалеет, что не мог приехать. Он ездит на работу в Брайтон и устает, но через две недели переезжаем. Он снял квартиру, а я нашла преподавательскую подработку. Первое время будет суетливо, но, если понадобится, я приеду.

— Да, сообщу, но сейчас хочу только, чтобы ему полегчало, — сказала Мариам, не в силах справиться с дрожью в голосе.

На другой день, перед тем как Ханне уезжать в Лондон, они навестили Аббаса. Мариам повезла

Ханну на вокзал, а Джамал остался в больнице. Он сидел у постели отца, смотрел на его лицо, спокойное и ясное, несмотря на трубки, и улыбался. Не верил, что тот скоро умрет. Отец дышал ровно, глаза были закрыты, он молчал и был, казалось, где-то далеко. Но пепельный цвет лица, движения дряхлого горла говорили о перенесенной боли и, может быть, еще не отпустившей. Отец был молчуном, предпочитал одиночество, так что, возможно, не испытывал сейчас мучений — там, где пребывал сейчас. Это была лишь фантазия сына — так ему хотелось верить. Мать часто говорила, как они похожи, Джамал и Аббас, в своей любви к тишине. Может быть, и правда, но молчания Аббаса бывали мрачными, в его тяге к уединению было что-то угрожающее, словно там, куда он отправлялся, встретиться с ним было бы неприятно. В этих случаях лицо его становилось угрюмым, недовольным, он хмурился, в глазах стояла то ли боль, то ли стыд. Когда он заговаривал в таком состоянии, даже с Мариам, голос его был груб, а слова тяжелы. Джамал терпеть не мог этих его настроений и в особенности того, как он говорил с матерью. Он внутренне сжимался от тревоги — что последует за его словами, как сильно они должны ранить мать. Он сидел у постели

отца, смотрел на худое лицо, спокойное после утихшей боли, и думал, что не хочет вспоминать эти мрачные молчания, этот рычащий голос. Он хотел думать о другом папе и, сидя с ним рядом, проникнуть в его мысли: это дало бы ему силы отразить отца угрюмого.

Когда они были детьми и не очень шумели, а папа был в настроении, он любил рассказывать им истории. (Джамал вспоминал его таким — смешливым рассказчиком, увлеченным своими фантазиями.) Он начинал, и они сразу к нему подсаживались. Иногда он даже кричал: «По местам!», чтобы они скорее сели. «„По местам!“ — командуют дети, когда играют в матросов», — объяснял он. Какие дети? Где? На эти вопросы он не трудился отвечать. Велел замолчать и сесть рядом. Они садились как можно ближе и, широко раскрыв глаза, слушали чудесные небылицы. Истории были самые невероятные, и Джамал с Ханной слушали раскрыв рот. Он умел их увлечь, и они видели по его лицу, что истории правдивые. Свои небылицы он рассказывал так, что и они им верили, и, наверное, сам начинал верить по ходу рассказа. Один рассказ был о том, как за ним гналось стадо смеющихся слонов. Он описывал их детям — огромных, с топотом бежавших за ним,

громоздких, толстокожих, вислоухих, хохочущих, сопящих, с качающимися на ходу громадными животами. Вы знаете, почему их называют толстокожими? Потому что их не прошибешь. Он их обманул в конце концов — повалился на землю. Слоны стояли вокруг него, и уже не смеясь, а с грустным недоумением. Потом ушли. «Надо понимать, — сказал им папа, — что слоны считают недостойным топтать кого-то смирно лежащего на земле. Но лежать надо совсем тихо, иначе тебе конец, каюк, крышка».

В другой раз папе пришлось играть в прятки с голодной акулой среди коралловых рифов Сулавеси. «Тамошние акулы знамениты своей величиной и прожорливостью, — рассказывал он. — Они любят свою работу — рыскать по океану и набрасываться на всё, что попадется. Если наблюдать за ними внимательно, держась на расстоянии, конечно, увидишь, как они с улыбкой раскрывают громадную пасть и заглатывают проплывающую мимо безобидную рыбку-попугая. Но они не умные — вечно натыкаются на разные предметы, и если держаться подальше от этих громадных зубов, то можешь уцелеть». Эта акула в Сулавеси часами гонялась за ним, но в конце концов папа ее обманул, заплыв в узкий

коралловый коридор; акула же застряла в нем, и папа спасся.

А однажды он неделю просидел на дереве, когда стая гиен с лаем караулила его внизу и, подняв зады, пускала в его сторону струи ядовитого кала. Вы не знали, что дерьмо у гиен жгучее? Это их страшное оружие. Гиены стреляют калом в глаза своей жертве и потом набрасываются. У папы не было выбора — только взобраться повыше на дерево и ждать, когда они опорожнят свой боезапас. Он даже задремать боялся, чтобы не сползти по стволу: иначе страшные гиеньи челюсти раскусили бы его кости в два счета.

А любимым у них был рассказ о говорящем верблюде. Папа был моряком до того, как познакомился с мамой, побывал везде и в Индии познакомился с говорящим верблюдом. В Индии полно чудес: небывалых волшебных зверей; а еще Ладху, халва-бадам, драгоценные камни, которые вылупляются из птичьих яиц, мраморные дворцы и ледяные реки. Говорящий верблюд рассказывал папе разные истории, и они так подружились, что папа пригласил его в гости. Так что, может, они с ним еще познакомятся, хотя Индия далеко и говорящему верблюду долго идти до Англии. А пока что папа рассказал детям

кое-что из историй, которые ему рассказал говорящий верблюд. Историй было без конца и края — столько их знал верблюд. В них не было ни гиен, ни акул, а только верблюжата, обезьяны, лебеди и разные другие маленькие дружелюбные создания.

Иногда он рассказывал им настоящие истории, которые знал с детства. Но только по особым случаям и когда они были моложе — в дни рождения и на Рождество. С днями рождения вначале было сложно — папа считал, что в них есть самодовольство, иностранцы портят ими своих детей. Что в тебе такого важного, чтобы праздновать день твоего рождения? Свой день рождения он не празднует. Мама свой день рождения не празднует. Никто не празднует. Кроме европейских иностранцев, он не знает никого, кто празднует день рождения. Чем они важнее мамы и папы и всех остальных в мире неевропейцев? Никаких дней рождения. Но в конце концов он вынужден был уступить, и на дни рождения мама пекла торт, ставила в него свечи, готовила особые угощения, и однажды, вернувшись с работы, отец увидел увешанную воздушными шарами кухню и маленькую вечеринку на полном ходу. Так что оставалось только улыбаться, признав пораже-

ние, и наблюдать торжественную радость детей. «Yallah, мы становимся цивилизованными», — сказал он. С Рождеством было так же трудно поначалу: расточительный праздник языческого пьянства — так он его называл. Но однажды втайне от всех он купил маленькую серебряную елку и гирлянду лампочек и смеялся вместе с детьми, когда они с радостным удивлением прыгали вокруг. Когда они утихомирились, все сели на пол кружком — мама, Ханна, Джамал, — и он начал. *Hapo zamani za kale*. В старые добрые времена. Для разных персонажей у него были разные голоса. Когда смеялся жестокий человек, голос у папы становился хриплым и злым, он крутил воображаемый ус и расправлял свои худые плечи, как драчун. Когда красивая молодая мать молила о помощи, он делался жалким, заламывал руки и моргал. Когда хороший человек наводил в мире порядок, он становился властным, решительно поднимал подбородок и сверкал глазами. Это было примитивное актерство, но дети были в восторге, и, когда он закончил, они аплодировали и осыпáли его поцелуями. Он тоже был доволен, их папа: улыбался, похохатывал и умолял маму спасти его от детей.

Джамал улыбнулся, вспомнив это представле-

ние, и наклонился, чтобы тронуть отца за руку. А спектакли эти были особенно забавны оттого, что папа не был веселым или шумным человеком. В отличие от мамы, он не участвовал в их веселых играх и не любил, когда они шумели. Возможно, потому, что был намного старше мамы. Мама соглашалась вести себя по-детски, но папа снизойти до этого не мог. Когда наступало время телевизора, он уходил наверх; но надо сказать, что прогоняли его детские передачи и старые мюзиклы по выходным. Он смотрел новости. Часто он уставал после работы, целый день его не было дома, он успевал отвыкнуть от их возни, криков, беззлобных детских препирательств. Но сам был тихим и, наверное, с годами делался еще тише. Когда Джамал подрос, ему казалось порой, что молчанье отца означает, что он его огорчил, — чем, непонятно. Каким утомительным бывает потомство: не можешь посидеть тихо — тут же начинают думать, что чем-то тебя огорчили!

В общем, папа был неразговорчив. Никогда не подходил к телефону, почти никогда. Когда был один дома, телефон мог звонить и звонить, пока звонивший не сдавался. Здесь никого нет, уважаемый. Мама придумала способ, как подозвать его к телефону в случае надобности. Два

звонка и отбой. Еще два звонка и отбой. Третий раз звонить, пока он не подойдет. На третий он всегда подходил. Когда все были дома и как-то развлекались, он мог сидеть с ними, но участия обычно не принимал. Не потому, что был недоволен, не ворчал — почти никогда, — просто сидел на своем обычном месте, иногда улыбался, иногда произносил несколько слов, но ворчал очень редко. Только когда на него вдруг накатывало — тогда его было не остановить, пока не выговорится. Остановить его или сменить тему было невозможно — как бывает с политиками, когда им задают вопрос, на который они не хотят отвечать. А обычно, если не очень шумели, сидел с газетой, с кроссвордом или книгой и говорил мало. Да, мало говорил. Он любил книги о море, приключения, романы, книги о морских обитателях, о странствиях, путешествиях, о человеческой стойкости. Они обожали, когда он пересказывал их и разыгрывал. Это было тем радостнее, что они помнили, каков он в других настроениях.

Когда они были маленькие и до той поры, когда Джамалу исполнилось десять или одиннадцать, они часто выезжали на природу. Папа любил эти вылазки. Он находил в местной газете объявления о чем-то занимательном и говорил: «Дети,

давайте поедем, посмотрим, что там будет в воскресенье». Воскресным утром они прихорашивались, одевались, как будто предстоял далекий путь, брали одеяло для пикника, полотенце на случай, если что прольется, и дождевики. Далеко не ездили, но накануне вечером папа изучал карту дорог, как будто они собирались в экспедицию, а он был руководителем. Они посещали ботанические сады, заказники, древние церкви, ярмарочные представления, разъездные выставки. Мама никогда не противилась его выбору. Экскурсиями командовал он. Она только готовила еду: сандвичи с помидорами — папа их обожал, а остальные терпеть не могли, — сандвичи с сыром, тефтели, йогурты, чипсы, лимонад и термос сладкого чая с молоком специально для папы. Набор всегда был один и тот же, и Джамал знал, что до конца жизни, когда подадут тефтели, он будет вспоминать эти вылазки. Собравшись, они садились в машину и выезжали. Иногда через несколько минут им приходилось возвращаться — папа спрашивал: «Ты заперла заднюю дверь? Отопление мы выключили? Мой бумажник у тебя?» За рулем всегда была мама, а папа, как турист, поглядывал вокруг и привлекал внимание детей к самым обычным видам: к овцам на

лугу, к ветряной мельнице, к веренице столбов в поле. Если даже цель поездки казалась странной, Ханна и Джамал строили рожи друг другу, но всё равно радовались. В поездке всегда бывало угощение. Иногда мама запевала веселые песни, и папа старался терпеть шум.

Ханна иногда говорила Джамалу, что они странная семья, чудна́я. Мама была подкидышем, не знала настоящих родителей, а папа о своих никогда не говорил. Джамалу их семья не казалась необычной или странной, но с Ханной, когда она это говорила, соглашался. В ее рассказах так получалось. Он не помнил, когда впервые услышал рассказ о детстве матери и от кого услышал — от нее или от Ханны. В детстве всё ему рассказывала Ханна. Но казалось, он всю жизнь знал эту историю, только с годами смысл ее как будто расширялся, и всё более странным представлялось молчание папы. Он не помнил, было ли им велено не рассказывать чужим о детстве матери, но он не рассказывал. Никогда и никому. С годами мама, случалось, заговаривала об этом, иногда он узнавал какую-то новую подробность. Эти ее рассказы были не такие, как те, что родители перебирали вместе, пересказывали друг другу, смеясь над памятными эпизодами,

которые изначально вовсе не были смешными, истории об их любви, ухаживании, о стойкости и нелепостях, иногда на грани катастрофы. История жизни матери складывалась из отрывочков — посреди рассказа другой истории или выговора детям вспоминалось какое-то чувство или впечатление, когда мысль начинала блуждать. А Джамал слушал по-особенному, не потому, что этому научился или заставлял себя, — это пришло само. Он слушал молча. Не перебивал, не спрашивал о подробностях. Теперь он задавался вопросом: так ли слушают все дети, или это он был таким послушным и одиноким мальчиком, или мамины рассказы были такими занятными, что не требовали вопросов? Мама кратко излагала ситуацию, он рисовал ее в своем воображении и помещал этот образ среди уже имевшихся.

Поначалу он не знал, верит ли сам в историю мамы-найденыша. Возможно, не верил. В детстве всё казалось непохожим на тот мир, который уже существовал где-то в других местах его сознания, и он не понимал, как не верить чему-то. Но в какой-то момент он, должно быть, понял, что история подлинная, и уцеплялся за каждую новую подробность в рассказах матери. Когда он стал подростком и с ним уже можно было говорить

откровеннее, мать сменила манеру повествования. Джамал побаивался это нарушить, боялся, что она решит говорить осторожнее о каких-то вещах. Ханна была не такой послушной, решительнее добивалась того, что хотела узнать от мамы. Просила, чтобы происшествия излагались яснее, чтобы мама повторила имена, хотела услышать, что произошло с героями рассказа. «Далеко ли отсюда Эксетер? Где теперь живут твои мама и папа? Как получил свое название Маврикий?» Вопросы вынуждали маму отклоняться, объяснять, уходить от доверительного тона, каким говорят о самых чувствительных подробностях. Когда Джамал оставался с ней наедине, он не прерывал ее, наслаждаясь неторопливым рассказом, придававшим событию глубину, с перебивками, когда всплывала вдруг деталь, выпавшая было из памяти. А когда замечал в рассказе противоречия, помалкивал. Он не понимал еще, что истории не живут в неподвижности, что они меняются с каждым новым рассказом, исподволь перестраиваются с каждым новым дополнением, и то, что кажется противоречием, на самом деле — неизбежный пересмотр произошедшего. Умом не понимал, но обладал даром слушания, вполне заменявшим понимание.

Однажды, когда он еще жил дома, мама рассказывала о тяжелой зиме в Эксетере — всё тогда померзло. Разговорилась, стала вспоминать, и чем дальше, тем грустнее: и что не бывала там с 1974 года, когда они уехали, и о потерянных подругах, и о Феруз. Папа тоже был в комнате; он оторвался от кроссворда, почувствовал настроение Мариам и прогремел: «Приятно познакомиться, мистер Бутс», — такая была у них шутка о начале их знакомства.

Мама улыбнулась.

— Как бы я хотела разыскать Феруз, — сказала она, глядя на папу.

Джамал знал, что мать пыталась связаться с приемными родителями, но найти их не удалось. В семье все знали об этом: она часто говорила, что после рождения Ханны больше всего на свете хотела примирения с ними и как она жалеет, что потеряла Феруз. При папе она об этом не говорила, во всяком случае, насколько знал Джамал. А сейчас папа посмотрел на нее неодобрительно.

— Что ты беспокоишься об этих людях? — резко сказал он. И, видимо, сам услышал эту резкость, продолжал спокойно и рассудительно: — Они не так уж хорошо с тобой обращались. По крайней мере, ты пыталась их разыскать, а они этим

не озаботились, уверяю тебя. Ты пыталась их отыскать, не смогла — что еще остается? Забудь о них.

Момент был напряженный; Джамал увидел, как мать посмотрела отцу в глаза и он опустил взгляд на кроссворд. И Джамал понял, что в ее взгляде был вызов: *Я не хочу их забывать. Я не хочу быть, как ты.* Что такого плохого могло случиться, если она решила сбежать, — но не настолько плохого, если мечтала о воссоединении? Может быть, ничего особенного. Может, она была слишком порывистой — девушка семнадцати лет, встретившая любовь всей жизни, — а потом слишком поздно к ней пришли сожаления. В такие минуты родители казались ему странной семьей — когда подступали к каким-то темам, а потом отступали, — какие-то сюжеты, истории возникали неожиданно и пропадали под долгими взглядами, в затянувшемся молчании.

Почему папа молчал о своей прошлой жизни? Сидя у больничной кровати, Джамал погладил папу по бедру. «Что ты делал? Ты меня слышишь? Не так уж ты плох — иначе накололи бы в тебе дырок, навставляли трубок и пристегнули бы к машине», — сказал он вслух.

Аббас вдруг открыл глаза, посмотрел невидя-

щим взглядом и опять закрыл. Джамала поразил этот короткий, налитый кровью взгляд — словно заговорил покойник, — и он тут же устыдился своей мысли. «Не так уж ты плох, гляди, разлегся, как паша в гамаке», — тихо сказал он. Но тут заметил, что дыхание отца слегка участилось, стало неровным. Позвать кого-нибудь? Слышно было, как за занавеской, отгораживавшей кровать, ходят люди. Но папа коротко вздохнул, и дыхание постепенно успокоилось. Непривычно было сидеть рядом со спящим отцом: таким беззащитным он никогда его не видел. Отец всегда спал чутко; случись застать его дремлющим — он встрепенется, не успеешь даже подойти. Может быть, чуткие нервы его еще работали, и голос Джамала проник сквозь пелену успокоительных и вынудил открыть глаза.

Джамал снова погладил его по бедру. *Больше не пугай меня так. Отдыхай. Почему ты никогда не рассказываешь о своих родителях?* Он не рассказывал — разве набросает коротко портрет скареды-отца и затюканной матери. Иногда, даже часто он рассказывал о том, как был моряком, в каких побывал странах, какими паршивыми работами занимался, прежде чем остановился на этой, и уже до конца жизни — механика на фаб-

рике электроники. Но никогда — о своих родных и даже о месте, где вырос. Маленькие Ханна и Джамал по-детски простодушно допытывались, где живут их дедушка с бабушкой, какие они, и задавали другие подобные вопросы, но он эти вопросы обычно отметал, иногда с улыбкой, иногда без нее. «Вам про это незачем знать», — говорил он. Иногда он рассказывал им о каких-то мелочах, казавшихся Джамалу интересными, — но не очень подробно, не очень конкретно. Рассказывал, будто забывшись на минуту, не контролируя себя, выставлял причудливую деталь, и она уплывала, растворялась в слепящем свете.

Он помнил, как однажды в Рождество отец рассказал им про розовую воду. «Так мы поздравляли друг друга с праздником. В первый день Ида люди приходят друг к другу с поздравлениями, выпивают по чашке кофе, а если достаточно состоятельные, то и с кусочком халвы. В некоторых домах хозяин брызгал на гостей розовой водой из серебряного сосуда, наливая им на руки, иногда смачивал им волосы». Когда Ханна спрашивала подробности — ей хотелось побольше узнать об этих людях и чьи дома они посещали (Джамалу тоже было интересно узнать, но он робел расспрашивать), — отец объяснял, что розовую воду

делают из лепестков и употребляют в разных блюдах и в религиозных церемониях по всему миру, от Китая до Аргентины. Он рассказывал им про Ид и его географию: как его празднуют в одной стране и как в другой, в каком месяце лунного года его празднуют и что такое лунный год. Когда они спрашивали о его родине, отвечал, что он обезьяна из Африки.

Они довольно рано поняли, что некоторые вопросы ему не стоит задавать. Джамалу больно было видеть раздражение на его лице, когда они приставали с расспросами. Чаще — Ханна, она острее воспринимала недосказанность. Она стремилась уяснить детали, и отцовские умолчания раздражали ее настолько, что иной раз она даже выходила из комнаты.

— Нет, не уклончивость, а увертки, Красавец, — объясняла она впоследствии, когда они стали достаточно взрослыми, чтобы обсуждать это с огорчением, а старшекурсница Ханна достаточно овладела языком, чтобы анализировать, по ее выражению, дисфункцию в их семье. Когда-то он спросил отца, что означает имя Джамал, отец сказал, что оно значит «Красивый», и с тех пор Ханна использовала перевод как ироническое прозвище. Себя вне семьи она предпочитала

называть Анной.

— Они себя потеряли, — сказала она. — Ба сознательно себя потерял, и уже давно, а Ма была потерянной с самого начала — найденышем. Я хочу услышать от них историю, у которой есть начало, — правдоподобную и ясную, а не такую, которая спотыкается на недомолвках и умолчаниях. Почему это так трудно? Хочу, чтобы я могла сказать: вот кто я такая. Знаю, этого хочет каждый, кто дал себе труд об этом подумать, — а разгадывать тайны души и природы бытия мне не требуется. Мне нужны простые скучные подробности. А вместо них нас потчуют обрывками таинственных сюжетов, и ни расспрашивать о них нельзя, ни обсуждать их. Терпеть не могу. Иногда мне кажется, что живу я, прячась от стыда. И все мы так.

Джамалу было знакомо это чувство. Оно просыпалось у него вдруг, когда он тоже чувствовал, что должен лгать и лицемерить. Это чувство — что он должен чего-то стыдиться — сопровождало его почти всю жизнь, даже когда он не отдавал себе в нем отчета, — и только со временем он начал понимать некоторые его причины. От этого обострялось ощущение своей особости, чуждости, с которым он рос. Ощущение это воз-

никало в разных случаях, не только в ответ на чью-то враждебность, недоброжелательство и подначки в школе. Он видел это в высокомерных сдержанных улыбках матерей учеников, в том, как люди старались не показать, что замечают в нем что-то необычное, в простодушных, а иногда настойчивых и жестоких расспросах детей о его родине и ее обычаях. Лишь с годами он научился говорить: *здесь* моя родина, — и научила его так отвечать Ханна.

Даже если старались, они не могли забыть, что он — другой, и сам он не мог, хотя делал вид, что не помнит об этом. Да и как иначе? После двух и трех веков повествований о том, какие они несхожие, могло ли быть иначе? Рано или поздно несхожесть напомнит о себе взглядом, словом. Обликом человека, переходящего улицу. Учитель, рассказывая о бедности в мире, невольно бросит взгляд в его сторону. Нищета обитает в таких краях, где живут подобные ему, а мы, избавившиеся от нее, должны научиться не презирать тех, кто еще не обрел средств спасения. Мы должны всеми силами им помогать. Так он понимал огорченный взгляд учителя: Джамал (и Ханна, и другие, похожие на них) — из этих несчастных, но мы не должны презирать его и

говорить с ним жестоко.

Когда какой-нибудь темнокожий старик с растрепанными волосами, в дрянном, криво застегнутом пальто, шаркая, брел по тротуару, они хихикали — дети, с которыми он рос, — и поглядывали на него смущенно. Он делал вид, что не стесняется, что ничем не отличается от этих хихикающих.

— Мне бывает противно, что меня растили здесь, — говорила Ханна. — Что не нашли другого места, где нам с тобой родиться. Не потому, что в других местах нет жестокости и лжи, а просто чтобы избежать этого унизительного притворства. Где не надо изображать, что мы ничем не отличаемся от людей, которые черт знает что мнят о себе. Но думаю, что у родителей не было выбора в этом вопросе, а только видимость выбора. Они могли не рожать меня, а уж когда родили, от них больше ничто не зависело.

Ханна бушевала так из-за их скрытной, притворной, придавленной жизни, когда они уже уехали из дому. Одно время она была одержима этим, но потом сумела как-то с собой сладить. Помогли студенческая жизнь, новые друзья и романы, успехи в учебе. Она входила в большой мир, и огорчения из-за того, что она Ханна Аббас,

и выросла в скромном домике в Норидже, и родители справляются с жизнью из последних сил, притупились. Теперь она была окончательно Анной и почти не заговаривала, как прежде, о своем чужеродстве. Наоборот, оно стало украшением ее британства. Однажды, дразня ее, Джамал сказал, что и ему, наверное, стоит сменить имя на Джимми и тогда он будет не таким нервным. Он почувствовал, что обидел ее, дав понять, что она изменила себе.

— Ненавижу имя Ханна, — сказала она. — Не знаю, откуда они его взяли. И вообще, это ты стал звать меня Анной.

— Знаю, знаю, — сказал он, пытаясь умиротворить ее. — Я был маленький и не мог как следует выговорить имя. Это я так, подразнил просто.

Джамал еще не достиг ее стадии, но благоразумие, вероятно, вело к тому. Он не мог заставить себя произнести «родина», когда говорил об Англии, или подумать о «приезжих» без чувства солидарности.

Он думал, что немногие на свете так мало знают о своих родителях, как он. Ему представлялось, что другие люди знают, кто они такие, знают, кто были их деды, где жили и чем занимались. У них там дядья в Ирландии, двоюродные в Австра-

лии, зятья в Канаде и какой-нибудь непутевый родственник, порвавший со всеми. У них обязательства, семейные сходки, сложные отношения. Такой, насколько он понимал, должна быть нормальная семейная жизнь, а они семья бродяг, скитальцы без связей и обязанностей. Когда он стал работать над диссертацией о мигрантах в Европе, мнения его изменились, он узнал, насколько ненадежна, насколько скудна здесь жизнь этих чужаков, как им приходится крутиться и как эта жизнь бывает кровава. Он научился терпеть в ожидании того дня, когда отец расскажет наконец свою историю. Он смотрел сейчас на отца, дышавшего мерно под снотворным, едва избежавшего смерти, и думал, что, может быть, и до рассказа этого не так далеко. «Если перестанешь так упорно сопротивляться, жизнь может быть вполне терпимой», — шептал он отцу, но не знал, верит ли в это сам. Почему отец не сделал в жизни больше? Почему не захотел большего? Но так ли мало он сделал, так ли уж мало от нее хотел? Ведь не так уж это мало — провести столько лет в терпеливом молчании, зная, что однажды жизнь обрушится.

— Что ты сделал? — шептал Джамал отцу. — Убил кого-то? Пытал? Губил души?

Вернулась Мариам, отвезя Ханну на вокзал, и Джамал уступил ей свой стул. Она тронула папу за руку; Джамал подумал, что отец опять откроет глаза, но этого не произошло.

— Пока тебя не было, отец открыл глаза, — сказал он.

— Что? Он разговаривал?

— Нет. Только широко открыл глаза и опять закрыл. Не думаю, что просыпался. Нет, как-то судорожно.

Мариам отправилась сказать об этом старшей сестре. Та пришла, взглянула и заверила их, что он спит и всё благополучно. «Может быть, пойдете отдохнуть, а завтра вернетесь? Состояние у него такое, что завтра доктор, возможно, позволит его разбудить».

По дороге домой Мариам спросила Джамала, надолго ли он намерен остаться, и он сказал: дня на три-четыре. Смотря как пойдут дела. Через несколько дней он переезжает в однокомнатную квартирку. «Квартирку» он произнес насмешливо. Она наверху, спальня, за перегородкой душ и туалет, но всё лучше, чем комнатка с еще двумя студентами в доме, которых он успел уже очень хорошо узнать. Меньше отвлечений, больше работы, и никто не действует на нервы.

Когда вернулись домой, Мариам пошла наверх и принесла фотографию Аббаса в рамке. Снимок сделал друг Аббаса, с которым они вместе жили. Аббас был в светлом свитере и короткой джинсовой куртке. Мариам поставила фото на полку над газовым камином и повернулась к Джамалу.

— Какой красивый! Ты очень на него похож. Только без мохнатой бороды.

Он подумал, что она хотела сказать «лохматой», но поправлять не стал. Его огорчало, что она путает некоторые слова, как будто английский выучила не очень хорошо, хотя прожила в Англии всю жизнь и другого языка не знала.

— Где его сняли? — спросил он. Он сам знал где, но чувствовал, что матери хочется поговорить о былом.

Сначала они поехали в Бирмингем. Аббас сказал, что там легче найти работу, а ей было всё равно. Если бы он сказал «в Ньюкасл», она бы тоже согласилась, а дальше ее представления не шли — дальше только за морем. А Шотландия — почему-то такое место, откуда уезжают, а туда не едут. Так она думала по невежеству. Это он побродил по миру и знал, каково там, знал, где безопасно. Бирмингем был интересен ей, как и любое другое место, далекое от Эксетера, и потому

еще, что Аббас был рядом. Иногда ей становилось страшно оттого, на что она решилась, а другой раз сама не могла понять, почему не решалась так долго. Но всё-таки, наверное, понимала: не сумела бы она сбежать самостоятельно. Боялась бы того, что могла преподнести ей жизнь, когда нет ни денег, ни отваги, ни особой красоты. Ничего. У Аббаса было немного денег — не совсем нищие, они могли найти комнату и искать работу. Не так уж плохо. Работу найти было нелегко: инфляция, забастовки, профсоюзные войны. Она нашла работу уборщицы в больнице — такая работа никого не привлекала, — а он сперва пошел на стройку, а потом получил работу на фабрике. Жизнь в большом городе и сам характер работы смущали, но особенно сожалеть не приходилось, да и поздно было думать о том, что ей во всем этом не нравится.

Жизнь ее решительно изменилась. Иногда она нервничала: не знала, как что-то делается, спросить Аббаса не могла, если его не было дома, но в конце дня он всегда возвращался, и она даже не представляла себе раньше, какой радостью будет для нее жизнь с любящим человеком. Его общество. Вечные рассказы, смех… правда, когда они наедине. На людях он был осторожнее, но

не робел — он не боялся. По крайней мере, так говорил: не боюсь никого и ничего. Услышав это в первый раз, она не поверила. Подумала, что он рисуется, говорит это, чтобы больше ей понравиться. Видимо, на нее действовало — вот он и повторял это несколько лет. И правда, он был боевой в те годы. Никто не смеет на них наезжать или морочить их. Она думала, что говорит он так, чтобы поднять им дух, придать уверенность, — и получалось, получалось. Но когда не хвастал, был нежен с ней и, может быть, немного тревожен — она не знала, из-за чего и есть ли за этим что-то конкретное. Она была молода, легко принимала всё как должное, ни из-за чего особенно не беспокоилась — ни тогда, когда он рассказывал уморительные истории о своих странствиях, ни тогда, когда эти истории бывали печальными. По выходным они могли валяться в постели до середины дня. Ходили в кино, если было настроение, угощались жареным мясом в кафе по соседству. Она думала, что он будет скучать по морю, но он говорил: нет, с него хватит. «Какое счастье, что нашли друг друга, — думала она, — какое везение!»

Хорошо жилось в Бирмингеме. Оба работали, хотя работа была неважная, и первые три года

пролетели. Иногда она вспоминала Феруз и Виджея, с противным чувством вины оттого, что сбежала не попрощавшись. Когда заговаривала об этом с Аббасом, он молчал. Не сочувствовал и не осуждал в те дни. Опускал глаза и молча ждал, когда пройдет у нее боль, и в ту пору боль чуть погодя проходила. Удовольствие доставляли самые простые дела: покупка кастрюль и сковородок, украшение ванной комнаты в их съемной квартире, слушание музыки, которую, ей раньше казалось, она не переносит. Он любил читать, а ее к чтению никак не тянуло. Оно отнимает много времени, а кругом полно занятий, столько времени не требующих. Иногда он рассказывал о прочитанном в книге, и ей этого было достаточно. Она любила слушать его рассказы о местах, где он побывал, о происшествиях, таких удивительных, что прямо для книги. Она заметила, что в какой-то момент он останавливается, обрывает рассказ, и вскоре пришла к выводу, что не рассказывает он о детстве, о тогдашнем своем доме. Когда спрашивала, он ускользал от объяснений, и она не настаивала — хотя, наверное, надо было. После стольких лет, прожитых вместе, и всякого пережитого она не знала, как заставить его говорить о том, о чем позволяла молчать так долго.

Тогда это не казалось важным — у них еще не было детей. А она их хотела, все годы в Бирмингеме. Сразу же хотела Ханну, но Аббас сказал, что она еще молода, надо несколько годков подождать. Они спорили. Она знала, что на самом деле он старше, чем говорит, что на самом деле ему было тридцать четыре года, когда они познакомились в Эксетере, и думала, он уже не хочет детей, привык к бродячей жизни, но он сказал: нет, просто она еще молода, рано обременять себя детьми.

После трех лет в Бирмингеме, пролетевших совсем незаметно, они переехали в Норидж. Аббас подал заявление в новую фирму электроники, и его приняли. Пришлось пройти переподготовку. Работа была гораздо лучше прежней, с хорошей зарплатой, пенсионным планом, и они решили, что им больше нравится жить в маленьком городе. Аббас был рад, что море близко. Сначала он назывался наладчиком, со временем сделался механиком, а затем, еще позже, вырос до главного механика. Она пошла в Центр трудоустройства, сотрудник спросил ее, какой работой она занималась в Бирмингеме. Она ответила, что была уборщицей в больнице; он улыбнулся и сказал: «Вам повезло», — и она снова стала уборщицей в больнице. Она сказала себе, что в работе уборщи-

цы есть свой смысл — ты наводишь чистоту, — и согласилась. В детстве, когда жила с Феруз и Виджеем, она мечтала работать в больнице — стать сестрой в психиатрии, как Феруз. Вот в больнице она и проработала почти всю взрослую жизнь, хотя и не медсестрой в психиатрии.

Мариам задержала взгляд на фотографии и спросила:

— Как по-твоему? Он всё же хорошо выглядит, а? Знаешь, почти никогда не болел. Но так вот и бывает: всю жизнь здоров, и вдруг всё сыплется.

Он думал, что может уже не оправиться. Годами страшился этого, наступления этого страшного, смерти в чужой стране, которая его не хочет. Это было много лет назад, но страна так и ощущалась чужой. Местом, которое он однажды покинет. В некоторых портовых городах, где побывал когда-то, были целые районы, населенные сомалийцами, или филиппинцами, или китайцами, и там иногда забывалось, что в Англии он сам недолго. Несмотря на свою обтрепанность, жители этих районов настороженно наблюдали за чужаками. Эти люди, жившие далеко от родины, здесь держались кучно для безопасности, бдительно охраняя свою честь, иначе говоря — своих женщин и имущество. Но и не в портах

ему иной раз встречался темнокожий старик, одиночка (чаще — старик, редко когда старуха), и он их жалел. Они выглядели такими чужими, эти старики, с задубелой темной кожей и курчавыми седыми волосами, когда шли по английским улицам, словно животные, попавшие в чужую среду, толстокожие, на бетонных тротуарах. «Себя я до такого не допущу, — думал он. — Не позволю себе умереть в чужой стране, которая меня не хочет», — и вот он где: почти что на тележке в крематории.

Врач мистер Кенион… Поначалу он думал, что фамилия его Кения, и подумал еще: «Как странно, они повсюду расселились и не стыдятся называть себя именем захваченных стран!» — но врач сказал: «Кенион». Почему они с возрастом начинают называть себя «мистер», а не «доктор»? Мистер Кенион сказал ему, что пострадают некоторые функции. Парализуются. Но некоторые могут восстановиться. Физиотерапия и не падать духом. Важен настрой. Так, что ли? Слух не нарушен, пострадала речь. Он может издавать звуки, но не произносить слова. Удивительно, как возникают слова, смысл из этого бульканья, посвистывания. «Мы это восстановим», — сказал мистер Кенион. Да, *двана*, вы и я.

Такой усталости он никогда не испытывал. Как будто вытекли из тела жизненные соки, и, когда его отправили домой, он часами сидел, неподвижно и безвольно, не в силах поднять руку, встать на ноги или хотя бы закрыть рот. Даже глаза не всегда мог открыть, а мысли блуждали или совсем останавливались. К его изумлению, часы проходили в мгновение ока. Он не выносил голоса и музыку по радио, тишина окутывала его и сгущала воздух вокруг.

Он почти ничего не делал самостоятельно. Мариам мыла его, кормила, давала лекарства, он этого не замечал. Раз в неделю она отвозила его в больницу: одевала его, помогала спуститься по лестнице, шажок за шажком, и везла в машине. Пока она обсуждала с доктором его симптомы и лечение, он сидел и молчал. Они с доктором были давними противниками, и Аббас улыбался, глядя, как они препираются над его немощным телом. Он надеялся, что улыбается про себя и по лицу ничего не видно. Доктор хотела, чтобы он упражнялся, каждый день выходил погулять.

— Вы любите читать, — говорила она, чеканя каждое слово, как будто у Аббаса был непорядок со слухом, хотя слух у него не пострадал. — Пройдитесь до библиотеки, почитайте там. Вам очень

важно двигаться. Говорите себе, что вы поправитесь. Настрой очень важен в терапии.

«Настрой» — наверное, это слово произнес тогда мистер Кенион.

«Спать не могу», — хотел он ей сказать. Нормально спать, всё мешает: голова, горло, желудок, — но выходили только хриплые звуки. Он лежал на кровати с открытыми глазами, стараясь поменьше шевелиться. Мариам спала на раскладушке, всунув ее между гардеробом и окном, всю кровать предоставила ему. «Чтобы тебе было просторнее», говорила она, — но, может, и для того еще, чтобы быть подальше от его старческого запаха. И всё равно он часто не мог заснуть. Ее будил малейший звук, поэтому он лежал, застыв, дожидаясь, когда станет ровным ее дыхание. Но иногда не мог совладать с собой, тошнота и боль в животе одолевали его, и он слышал свои крики в подземных залах сознания, снова и снова, будто кричало умирающее животное. А иные ночи лежал не шевелясь, не в силах уснуть, и где-то в уголках сознания, где затаилась боль, возникали зеленые и красные вспышки, дожидаясь ее приближения.

От дороги вела заросшая тропинка, ее легко было пропустить, когда забыл, чего ищешь. Он

шел домой из школы. Идти было далеко, по проселку, иногда отступать в сторону, чтобы дать дорогу телеге или грузовику с пассажирами. Вдоль обочин густо росли деревья, пальмы, они укрывали от послеполуденного жаркого солнца. От школы до дома был час ходу. Его единственного в семье отдали в школу. Какие были сражения из-за этого! Когда он показывался из-за деревьев, его встречал взгляд отца. Отец плел корзину для овощей, которые завтра отправятся на базар; он прерывал работу и кричал ему: «Берись за работу, бездельник! Думаешь, у тебя тут рабы?»

Таков был отец. Его имя было Отман, суровый человек, он наслаждался своей крутостью и разговаривал исключительно криком. А теперь, лежа в потемках, разбитый болезнью, в чужой стране, Аббас видел отца, стоящего во дворе под вечерним солнцем: саронг подвернут до бедер, и на пне перед ним наполовину сплетенная корзина. В ногах у него лежит короткая мотыга, с которой он никогда не расставался. Низкорослый, мускулистый, с твердым, как кулак, телом, он смотрел на Аббаса с нескрываемой свирепостью. Он на всё так смотрел, готовый сцепиться с кем угодно — с человеком или зверем, — и выражение ярости на его лице нисколько не смягчали большие очки

в толстой оправе, которые он носил постоянно, снимая только перед сном. Чем бы ни занимался он, вид у него всегда был грозный — и вместе с тем комический. Аббас мечтал об обеде, но знал: если заикнется о нем, это вызовет тяжелый гнев отца. Поэтому он попросил разрешения сначала прочесть молитву, рассчитывая перехватить что-нибудь из съестного, отложенного для него матерью. Отец улыбнулся в ответ на его уловку, но, будучи человеком набожным, не мог в этом отказать.

— Поторопись, — сказал он. — Не заставляй Бога ждать, и меня тоже.

У них был небольшой участок, акра два, с фруктовыми и кокосовыми деревьями, росшими как попало, словно их не высадили, а занесло сюда случайно. Кроме того, отец выращивал овощи на продажу, и никто в семье не был освобожден от ежедневной работы на огороде. Он не уставал объяснять детям, что вырос в нищете, тяжело трудился всю жизнь и не хочет снова стать нищим. Никто в его доме не будет жить на дармовщину. Все должны работать за пищу, которой он их кормит. Его сыновья были его батраками, и он заставлял их работать так же усердно, как он сам. Жена и дочь были чем-то вроде служанок,

watumwa wa serikali, государственных рабынь, говаривала мать. Они носили воду и дрова, стряпали и убирались, исполняли любое требование, весь день от восхода до заката. Будь проклята эта собачья жизнь!

Единственной слабостью отца были голуби. Ничего особенного не было в этих голубях: ни длинных хвостов, ни яркого оперения. Обычные серые плебеи, каких полно и в городе, и в сельской местности, но он строил им домики, горстями сыпал им просо, смотрел, как они слетаются вокруг него во двор, и с ненавистью отгонял ворон и кошек. Своих детей не защищал так, как их. Не позволял детям гоняться за ними, так что одним из бунтарских удовольствий у них было подбить голубя из рогатки и зажарить на костре где-нибудь подальше от дома. Но даже голуби не отвлекали его надолго от неослабного наблюдения за своим каторжным лагерем.

Так они работали, вся семья, но жили тяжело и скудно, впритык, без малейших удобств. И всё потому, что отец был скуп. Он ненавидел тратить деньги. Он вырыл яму в земле у себя под кроватью и там держал запертую шкатулку с деньгами. Потом сколотил крышку над ямой и запер на висячий замок. Это было как зарок, или

клятва, или обет — тратить как можно меньше денег. Они ходили в обносках, спали на тюфяках на полу. Мяса почти не ели, а когда случалось, это были козьи бабки, сваренные в супе. Он был скуп — скуп на деньги и скуп в своем взгляде на мир. *Allah karim*, — говорил он, когда кто-нибудь из соседей по какому-то экстренному случаю просил в долг. «Бог щедр. У него проси в долг, не у меня». И всё же они были благополучнее своих деревенских соседей: жили в каменном доме, с уборной в тыльной части, а не в глинобитной хижине с отхожим местом в кустах. Из-за тяжелой обстановки в семье и бесконечного труда Аббас ощущал свое отличие от других детей. Те жили так же скудно, но находили время шататься по окрестностям, совершать налеты на фруктовые сады, играть подолгу в войну, тогда как сам он мчался домой перехватить кассавы или банан и трудиться на земле. Скудость — это слово он усвоил позже, но когда усвоил, оно правильно описывало его детство, и сам звук его напоминал ему о зловещей и ненужной нищете их жизни.

У него было двое братьев и сестра, он — младший. Однажды — ему было лет семь — самый старший из них, Кассим, отвел его в школу: дорога была трудная, по меньшей мере мили полторы

от дома. Отцу это не нравилось. «Научат в школе одному — лентяйничать и чваниться», — сказал он. Но Кассим часто видел школьников, когда ждал автобуса, чтобы отвезти в город кокосы, окру и баклажаны. Он видел, какие они веселые и чистенькие, эти дети. Слышал их голоса через дорогу, их стишки и болтовню. Аббасу были знакомы эти звуки — иногда он сопровождал брата в город, чтобы помочь и поучиться, потому что когда-нибудь ему самому придется возить продукты на рынок, но главное, потому что брат понимал, как ему нравится ездить на автобусе. Он был еще мал, мог ездить бесплатно, поэтому отец не противился.

Они дожидались автобуса под деревом и слышали, как малыши на другой стороне дороги читают и тихо заучивают стихи. Эти звуки вызывали у Аббаса улыбку, он надеялся, что и ему когда-нибудь выпадет такое счастье. Он понимал, что и Кассиму такого же хотелось бы. И сказал ему об этом. Кассиму было тогда тринадцать лет — тощий мальчик, труженик всю свою жизнь. Он был уже глуп для школы. Ему уже поздно. Так он сказал Аббасу, когда они стояли под деревом, через дорогу от школы, и ждали автобуса. Брат Кассим. Позже в кафе, куда они зашли съесть

булочку и выпить чаю, по радио кто-то говорил, что долг каждого — отдать своих детей в школу, и как это благородно — искать знаний, даже если придется отправиться за ними в Китай. Брат спросил, кто это говорит, и им сказали, что это новый кади, просвещенный человек, он хочет изменить жизнь, хочет, чтобы люди задумались о своей жизни. Он проповедовал по радио каждую неделю, говорил, что люди должны думать о своем здоровье, думать о своем питании, быть щедрыми с соседями, и говорил, что забота об этом — их долг перед Богом. В каждой проповеди он что-то говорил о необходимости отдавать детей в школу.

Однажды созвали собрание под большим деревом, и поговорить с ними приехал человек из правительства. Дело было в пятницу днем, после молитв, а под деревом — потому, что в ближайшей мечети все не помещались. Отец был там, и Кассим, и другой брат, Юсуф, такой молчаливый, что получил кличку *Kimya* (тишина). Кассим, и *Kimya*, и их младший брат Аббас, тоже kimya, — дети скупого Отмана. Человек из правительства был высокий, худой и одет в канзу и куфию. Он помолился с ними перед тем, как выступать, а потом заговорил с такой же настойчивостью, как

кади по радио. Он сказал им, что войны теперь нет и правительство готово улучшить жизнь своих граждан. Для Аббаса война была новостью, но позже он поймет. Год был 1947-й. Человек из правительства долго говорил о пользе образования и всем советовал отдать детей в школу в новом году, который вскорости начнется. Домой шли молча, отец, как всегда, шагал впереди, а трое братьев следом, со своими мыслями.

Вечером перед всей семьей Кассим сказал, что Аббаса надо отдать в школу. Отец фыркал и грозился, все примолкли, но Кассим не отступал. Он спорил, ныл, упрашивал отца целыми днями. Хватит того, что все они тупые вьючные животные, но раз правительство хочет, чтобы молодые ходили в школу, мешать этому неправильно, говорил он. Какой от этого вред? Отец пытался заткнуть Кассима, ругался — «ты ничего не понимаешь, глупый щенок», — но сын продолжал уговаривать, и тогда он просто перестал слушать и отвернулся. И в день начала занятий, через две недели после собрания под деревом, Кассим, ни слова не сказав отцу, взял Аббаса за руку и отвел в школу. Днем, когда уроки кончились, Кассим уже ждал его, чтобы отвести домой, и Аббас увидел, что брат в синяках от отцовских побоев. Но на

другое утро Кассим опять взял его за руку и отвел в школу — и на этом споры закончились. Аббас молча лежал в темноте, вспоминая тот первый день, вспоминал брата, и на глаза у него наворачивались слезы.

Это было первое важное событие в его жизни — школа в Мфенесини. Он годами избегал думать о тех событиях, и иногда удавалось даже убедить себя, что многое из этого забыл. Он плакал в темноте и о брате Кассиме, и о себе в то январское утро 1947 года, плакал старческими расслабленными слезами о двоих людях, теперь пропавших под грузом паники и вины. Он очень старался не думать о многом, и долгие годы это будто бы удавалось, — но вдруг ударит врасплох, выскочив невесть откуда и свирепо. Может быть, так и у других людей, которые ныряют, и увиливают от ударов жизни, и вздрагивают от них, и выстраивают корявый заслон от крепнущего противника. А может, жизнь вовсе не такова у большинства, и время приносит им покой и умиротворение, — но ему не так повезло, или он не оценил свое везение. Сколько ни уклонялся, он понимал, что время изнашивает его, и всё труднее было отмахнуться от того, что он должен был привести в порядок и не удосужился. Теперь он болен и

изношен, и не может занять себя или отвлечься — лежит в темноте и ждет наступления боли.

«Эта школа в Мфенесини. Думай о школе в Мфенесини». Он мысленно рисовал схему. Было три корпуса: большой, фасадом к дороге, и два поменьше с боков, под прямым углом к нему — незамкнутый четырехугольник. Между средним корпусом и дорогой были клумбы и кусты; на одном из них висел кусок рельса — школьный звонок. Дежурный учитель, как его называли, держал на столе будильник и, когда перемена заканчивалась, велел одному из учеников своего класса бежать во двор и дважды ударить по рельсу железным прутом, висевшим тут же. В большую перемену и в конце уроков он сам шел к рельсу и сам выбивал энергичную веселую мелодию — дети радостно кричали. Стены классов были высотой в три фута. Дверей и окон не было, дети могли увидеть и услышать, что делается в других классах, — то есть если бы осмелились поглядеть. За одним из боковых корпусов был двор, там играли на переменах, а за ним — уборные. Каждый день после уроков их чистили все классы по очереди. «Полезно приучиться соблюдать чистоту», — говорили учителя. Дома они живут в грязи, как будто Бог дал им такое право. Здесь,

в школе, они узнают преимущества чистоты и здоровья. Учителя были свирепые и чаще кричали, чем разговаривали, большинство из них расхаживали с палкой из гуавы, или тростью, или линейкой и грозно трясли ими, требуя порядка, а при надобности — били. Били на самом деле не серьезно, и после первого года дети вообще делали вид, что линейка или палка не причиняют боли. Это часть школьной жизни, это заставляет тебя учиться.

Когда он был нужен, отец на несколько дней забирал его из школы. Делал это с торжеством, словно восставал против жестокого закона. Аббаса отправляли полоть, или упаковывать, или делать что-то еще, для чего он годился по возрасту, и отец их, скупец Отман, злорадно показывал детям, что все в доме обязаны работать за еду. Из-за этих перерывов Аббас отстал в школе на целый год: вдобавок к неделям, когда отец удерживал его дома, он заболел лихорадкой и долго пролежал в постели. Учителя выговаривали ему за пропуски, но это была сельская школа, и не ему одному приходилось пропускать занятия. Несмотря на свое презрение к наукам, отец по дороге в город иногда заглядывал в школу, ходил по классам и, отыскав малолетнего сына, с на-

смешливой улыбкой наблюдал за происходящим. Но была и невольная теплота в этой улыбке, и, вспоминая о ней — если она и вправду была, — Аббас сам улыбался. А может, было это всего лишь старческим сентиментальным вымыслом. И не было никакой невольной теплоты в улыбке отца, а только презрение.

В общем, была улыбка или не было ее, у дороги росло громадное дерево, а напротив, через дорогу, — школа. В учебное время, даже в перемену, переходить дорогу запрещалось. Он не помнил, чтобы им объясняли причину. Школьным правилам надо подчиняться, а не обсуждать их. Как будто, перейдя дорогу, исчезнешь в листве — хотя классы были открыты солнцу, а территория школы не ограждена ни стеной, ни забором. Наверное, учителя просто хотели, чтобы ученики всё время были на глазах, в безопасности. Дети, когда была возможность, наблюдали за людьми под деревом. Это был маленький деревенский рынок, там продавали и покупали фрукты, овощи, яйца, дрова. Был киоск с чаем и закусками. Он часто думал об этом рыночке под деревом — нет, может, даже не думал, а перед мысленным взором вставал образ, когда он засыпал или уплывал в воспоминания. Образ, являвшийся

ему, обладал глубиной и фактурой — это была не картинка. Он ощущал теплый ветерок, слышал смех людей, покупавших и продающих. Иногда появлялась новая подробность — лицо, о котором он сорок лет не вспоминал, происшествие, значение которого он осознал столько времени спустя. Подобные места он видел по телевизору — не Мфенесини, но похожие. И когда он видел эти места, он и Мфенесини видел яснее. Как это случилось? Однажды они смотрели по телевизору что-то о Судане, увидели рынок под деревом, и он сказал: «Мфенесини».

— О чем ты? — спросила Мариам.

— Там я ходил в школу, — сказал он.

Она попросила написать слово — хотела узнать, как оно пишется. Ему надо было бы продолжать. Дети уехали, времени стало больше, можно было продолжать рассказ, но он умолк, и она не просила его рассказывать дальше.

Наверное, учителя нервничали из-за автобусов: ездили они не так часто, но появления их нельзя было предугадать. Иногда они час не появлялись и больше, и вдруг вылетал неизвестно откуда набитый людьми автобус и останавливался у рынка. Если он ехал в город, то загружался продуктами, а если из города, то останавливался, чтобы

высадить людей. Этот рыночек был маленькой пыткой для детей. Они не могли оторвать взгляд от кипучей деятельности под деревом. Учителя требовали от них полного внимания, а это значило, что они были обязаны смотреть прямо перед собой, даже когда учили наизусть таблицу умножения или слушали учителя, читавшего какой-нибудь рассказ. Отвлекшемуся непременно доставалось по уху. И непременно — мальчику, девочек учителя-мужчины не били, а учителя все были мужчины. Если учитель стукал девочку, приходили с жалобой ее родители, как будто он совершил непристойность.

Если что-то случалось под деревом — драка или кто-то падал с велосипеда, — вся школа — ух! — вскакивала на ноги, забыв об учителях. Вспоминая это, Аббас улыбался. Учителя изо всех сил старались поддерживать тишину и порядок, словно это было делом их чести. Иногда, стоило кому-то почесаться или заерзать, они воспринимали это чуть ли не как свой позор. Как же они любили покорную тишину! Но долго поддерживать ее они не могли. Не могли всё время держать детей в узде. Вечно что-то случалось: маленький бунт, взрыв смеха, дерзкий мальчишка, нечувствительный к пощечинам.

После стольких лет, после всего, что случилось потом в жизни, это время представлялось безмятежным. Он ходил в школу, работал на земле, иногда шатался с другими мальчишками. Самое памятное было связано со свадьбой сестры Фавзии. Она была самой старшей из них и уже упрямилась, бунтовала против отцовских порядков, весь день ныла и жаловалась тонким голосом, вставала на дыбы после каждого выговора, убегала и где-то пропадала часами. Ей было тогда лет семнадцать, и эти исчезновения сильно ускорили ее замужество. Нельзя, чтобы девица пропадала где-то часами. Чем она там занимается, портит себе репутацию и позорит семью? В свои одиннадцать лет Аббас еще не знал, как устраиваются такие дела, но жених ей был найден, и приготовления к свадьбе начались.

Отец без конца жаловался на траты. Расходы на свадьбу съели все его сбережения, говорил он. Никто ему не верил, хотя известно: свадьбы оставляли семьи нищими. Родители тратили всё накопленное или залезали в долги, чтобы дать серебро, золото и деньги в приданое. Устраивали пир, чтобы все родственники и любой присоседившийся бездельник могли набить животы жарки́м и мороженым. Раскошеливались, чтобы

не было позорных сплетен. Их называли бы скупцами, если бы они не наполнили жадные животы гостей, которых даже не приглашали, но не могли прогнать. Отец не возражал против того, чтобы его сочли скупцом. Таким он слыл уже, и его это нисколько не смущало. Но раскошелился по полной, как полагалось. У него нет выбора, твердила ему жена, иначе он опозорит дочь. Так что накрыли богатый стол, приехали повара из города со своими котлами, блюдами, сбивалками для мороженого. Детвора возбудилась немыслимо. Недалеко от дома привязали теленка, он жалобно мычал, словно знал, что его ожидает, а рядом сидели, жужжали мальчишки. Ждали, когда придет резак и зарежет его. Пришел, но разогнал их перед тем, как начать. Развели костры из душистого дерева, и в воздухе повис аромат бирьяни. Заиграли барабанщики, из города и других мест потянулись гости. Женщины ушли на площадку, отгороженную пальмовыми ветвями, а мужчины оставались под навесом, здоровались, разговаривали, хлопали друг друга по плечам, смеялись. Отман отложил свою короткую мотыгу, он был в новом канзу — белом халате, специально сшитом по этому случаю, — и в куфии, шапке без полей. Ее подарил отец жениха. На плечи он накинул

шелковый платок, извлеченный из сундука в его спальне и пропахший камфарой. Ему как-то удалось подавить огорчение, вызванное безумными тратами, и даже выглядеть отчасти горделиво в новом убранстве. Потом были пир, барабаны и пение до поздней ночи, и мальчишки, спрятавшись в кустах, глядели на женщин, танцевавших за пальмовой оградой.

Да, свадьба Фавзии была самым памятным событием того времени, хотя нельзя сказать, что всё прочее было невыносимо. Он любил дождь, любил смотреть, как множатся лягушки и со всех деревьев еще долго капает после дождя. Ему нравилось в школе, и даже работа на ферме была терпимой, и иногда поездки в город с Кассимом, как это происходило уже годами: отвезти продукты своему торговцу на рынке. Потом побродить по улицам, зайти в кафе, съесть булочку и выпить сладкого чая с молоком.

Наконец в шестнадцать лет он сдал экзамены и поступил в городской педагогический колледж. Правда, колледж был не в городе, а в шести милях от него. Несколько раз он видел его во время поездок на рынок. Здания были белые, с длинными верандами и красными крышами. С дороги он казался каким-то дворцом у моря. Некоторые

здания были общежитиями для студентов, живших на других островах. Местных же ежедневно привозил из города автобус колледжа и в конце дня увозил. Узнав, что принят, он взял взаймы велосипед и поехал из Мфенесини в колледж. Дороги было всего миль десять. Он побродил по территории, вышел на берег и сразу полюбил это место. Но отец ничего не желал слышать, упрямый тиран. Он сказал, что хватит, отучился — и больше, чем надо, — на всю жизнь хватит. Наигрался, наразвлекался, пора домой — растить окру и баклажаны и не придумывать новые расходы на учение, форму и книги. Против папаши восстала вся семья, даже мама. Кассим обозвал его в лицо скупердяем, сказал, что он своей жадностью всем испортил жизнь. Отец погнался за Кассимом с палкой, ругая его за дерзость и неуважение, но брат, и убегая, не переставал обличать. Кассиму был двадцать один год, он мог легко отнять у отца палку и мигом сломать пополам, но с отцом так не поступают, по крайней мере в той стране, где они родились. Ты либо даешь себя избить, либо убегаешь. Споры длились целыми днями, мать и братья включались по очереди, надеясь взять вредного старика измором. Ничего не добились.

Деревня была маленькая — даже о семейной

ссоре сразу становилось известно, тем более что Отман-скупец и сам был не прочь рассказать там, под деревом, о своих огорчениях. О том, что происходит, прослышала сестра Фавзия. Жизнь в городе нравилась благополучно замужней сестре; после переезда, знакомясь с новыми людьми, ежедневно бывая в гостях, она сделалась смелой и независимой. В городке у нее обнаружились природный талант к интриге, ловле слухов и сплетен и живой ум, привлекавший людей и вместе с тем отпугивающий. Прослышав о семейных спорах, она явилась в отчий дом — посмотреть, как это можно уладить. Она и нашла решение, позволившее Аббасу пойти в колледж. Для оплаты обучения она заложила часть золотых вещей, полученных в приданое, — так что оно оказалось не пустой тратой денег. Они с мужем жили в съемной комнате, еду готовили на общем дворе, свободного места у них не было, и она уговорила родственников мужа пустить Аббаса к себе, пока он учится. Аббас не знал, на каких условиях его примут, — или просто из доброты. Спрашивать о таких деталях иногда невежливо, но это означало, что он сможет учиться в городе и жить у родственников сестриного мужа. Его поселили в маленькой кладовке, где он мог спать и зани-

маться. В кладовке, с видом на море. Нет, хватит об этом, хватит! Он больше не хотел об этом. Не надо сейчас, не надо — засыпай, старый трус! Нарисуй в голове яркую цифру: 1. Теперь нарисуй другую, горячего серебра: 2. Еще одну, пурпурную с блеском: 3. И из редкого тумана выплывает еще одна: 4. *Mashaallah*, держись.

Мариам тревожилась: Аббас делается ей чужим. Как поведет себя — не угадать. Подолгу не шевелится, смотрит иногда так, словно не понимает, кто она. А бывает нежен, держит ее за руку, как будто боится, что она исчезнет из виду. Доктор Мендес предупредила, что Аббас может о чем-то забывать, как будто теряет память, — но это, возможно, временное. Она делала всё, как доктор велела, и давала назначенные лекарства. Аббас слушался ее, во всем полагался на нее — как правило. Но иногда упрямился, становился груб, плакал от боли и прогонял ее.

Она беспокоилась из-за детей — они не должны думать об отце плохо, не надо, чтобы виделись с ним, пока он не станет спокойнее.

Шли дни, Аббас немного окреп, хотя не настолько, чтобы пройтись до библиотеки раз в неделю, как советовала врач. Ох, эта врач! Аббас в его состоянии даже дорогу к библиотеке не найдет.

Она сама пошла в библиотеку, взяла аудиокниги, которые, по ее представлениям, он захочет слушать. Ночами она лежала на своей койке, прислушивалась в темноте к его возне на кровати и с ужасом думала о том, что дети могут споткнуться, потерять свою дорогу в жизни, лишиться отца.

В первые недели весны Аббас стал лучше спать. Ему прописали что-то для улучшения сна, и, может быть, помогали теплые одеяла. Из-за снотворного он плохо соображал, проснувшись, но, по крайней мере, высыпался, и отдых прибавлял ему сил.

2. Переезд

Когда Анна впервые увидела соседку, та была в саду — то исчезала из поля зрения, то появлялась с видом человека, всецело поглощенного своей работой. Анна увидела ее из тыльного окна на втором этаже, когда показывала рабочим, куда ставить коробки. Увидела мельком — но мелькнула та несколько раз: худенькая женщина с длинными светлыми волосами, в джинсах и ботинках, с засученными рукавами высаживала рассаду из баночек от йогурта на подносе. Она поднялась с корточек и пошла к дому, как будто торопясь унести рассаду под крышу. Анна поняла, что это отчасти представление: полагая, что за ней наблюдают, она хочет изобразить вежливое безразличие к зрителю — просто занята своим делом. Анна подумала, что соседка ее, возможно, рисуется перед публикой. Когда та показалась снова, Анна отошла от окна и почувствовала, что соседка кинула взгляд в ее сторону.

В тот день они переехали. На этот раз обошлось без дождя, был теплый и солнечный мартовский день. Прежде при каждом переезде круглый день

лил дождь, добавляя неудобств и беспорядка. Это был первый переезд с Ником — или второй, если считать тот, когда они решили поселиться вместе. В тот раз она переехала из дешевой съемной комнаты в квартиру Ника в Уондсворте. На самом деле скорее в Тутинг, чем в Уондсворт, но «Уондсворт» звучало солиднее. Не только звучало, когда тебя об этом спрашивали, но и думать так было приятнее. Тутинг ассоциировался с ремонтным депо, скотобойней и психиатрической больницей. Комната, из которой она переехала, находилась в Тоттенхеме — у наивного и благодушного первым делом рождалась мысль о замечательной футбольной команде. В тот переезд ее удивило, сколько добра у нее накопилось и втиснулось в единственную комнату. Когда она переезжала в Уондсворт, фургон, заказанный Ником, был набит битком. Почему-то Ник решил перевезти всё за одну поездку. Он отнесся к этому как к забаве, к спортивному вызову, но настроен был решительно. Когда разгружали фургон, ее цветы поломались, у одного старого стула отломилась ножка, гладильную доску повело. К счастью, ничего ценного не повредили. Да и не было у нее ничего ценного — она сказала так, просто чтобы подразнить Ника. Ничего страшно-

го, хотя и грустно было видеть порчу полезных и хрупких вещей. Всегда так при переезде: пот, воркотня, неаккуратность, а затем хаос, постепенно сменяющийся порядком. Ей нравились эти минуты поздним вечером, когда всё неотложное сделано и расчищено место для первого ужина в новой квартире. Влажные волосы и перепачканные газеты на полу только добавляли привлекательности жареной рыбе или тому, что она успевала состряпать в перерыве между уборкой в ванной, включением бойлера, распаковкой предметов первой необходимости. Теперь, на этот раз с Ником, она могла с улыбкой вспоминать неудобства, со смехом — самые трудные моменты и уже поглядывать с удовлетворением на то, что ими достигнуто. Она подумала (было такое чувство), что здесь даже кровать с просевшими пружинами и старым продавленным матрасом сулит небольшое, но занятное приключение.

Потому что переезд — это начало, складывание из кусочков и мелочей чего-то нового, еще одна попытка устроить на этот раз жизнь правильно. Она имела в виду мирные переезды из квартиры в квартиру, что происходит с людьми, когда они молоды и не очень обременены: знают кого-то, кто переезжает из приятного жилья в более хо-

роший район города или в более просторную квартиру, а плата за жилье, как ни странно, такая же или чуть-чуть больше. Но чаще всего переезды совсем не такие, бывало, напоминал ей Джамал, разгорячаясь из-за несправедливостей, чинимых его возлюбленным иммигрантам, искателям прибежища. Она и сама об этом знала, но порой Джамал не мог сдержать страсти. Для миллионов, говорил он с дрожью в голосе, переезд — это момент отчаяния и краха, поражения уже неизбежного, отчаянное бегство от плохого к худшему, с родины на чужбину, из граждан в бездомные, из жизни сносной, даже благополучной, к отвратительной и ужасной. Она вполне сочувствовала его речам, но не знала, чего еще от нее ожидают. Каждый справляется с жизнью как может. Что тут сказать? Получаются только банальности, и покажешь себя черствой и самодовольной, а вполне сочувствовать косоварам — торговцам живым товаром — и североафриканцам, перевозящим в себе наркотики, она, в отличие от него, не могла. Так что переезд к Нику не был для нее сломом жизни и, наверное, даже не началом новой, но всё же серьезным решением: уйти с работы, наняться учителем на подмену и ехать за ним — пока что в качестве подруги.

И она сказала ему:

— Ты уверен, что понимаешь, о чем просишь меня? — Подразумевая: «Понимаешь, от чего ты просишь меня отказаться и как я должна смотреть теперь на наши отношения?»

Он сказал:

— Да, понимаю. Всё у нас получится.

Оба улыбнулись; это означало, что они поняли друг друга.

Причиной переезда было то, что Ник получил свою первую академическую должность, сделал первый шаг в карьере, к которой так стремился. Вообще-то, начать ему полагалось бы с сентября, но из-за чьей-то болезни, чьего-то академического отпуска и других нескладиц, которые она не вполне могла понять, на его кафедре образовалась нехватка людей, и его спросили, не может ли он приступить как можно скорее. Он приступил немедленно — ездил из Уондсворта в Брайтон весь январь и февраль (как раз первые недели болезни отца), а она занималась формальностями, связанными с увольнением. Работа ей нравилась, но ей было интересно, что их ждет впереди, как повернется жизнь. «Интересно ведь, правда?» — говорил Ник. Если она ушла с работы, это не значит, что они останутся вовсе без денег.

Он будет получать жалованье всё лето, то есть не придется искать подработку в кафе, и у нее впереди достаточно времени, чтобы к сентябрю найти постоянную должность. А пока что они стали подыскивать съемную квартиру.

Наняли транспортную контору — перевозку оплачивал отдел кадров университета. Это было первое ее знакомство с грузчиками. Они приехали в восемь часов утра, за два часа всё упаковали и перенесли в машину: мебель, коробки, растения в горшках. Вежливые, дружелюбные, говорили ровно столько, сколько надо, чтобы не надоедать. Это удивило. Она ожидала, что они будут грубыми, недовольными тем, что вынуждены зарабатывать тяжелым физическим трудом, а оказались вежливыми, и с ними было легко. Они с благодарностью принимали чашки с чаем по ходу работы и как будто были приятно удивлены неожиданным гостеприимством. Работали споро — она даже огорчилась, что работы не так много, нет у них возможности в полной мере проявить свое мастерство.

Она думала прежде, что будет испытывать неловкость при виде того, как чужие возятся с ее вещами, хотя они вдвоем вполне бы справились с переездом. Она всегда переезжала самостоятель-

но — разве что случайно кто-нибудь пособит, — и зачем им всё перевозить? На что им эта старая кровать со сломанной спинкой? Почему не купить новую там, на месте? Она подумала, что, наняв транспортную контору, они взяли дурной пример с людей более обеспеченных и ленивых, которые платят за то, чтобы кто-то утруждался вместо них, дышал бы, например, если бы это было возможно. Но неловкости она вовсе не испытывала, наоборот, ей было приятно, что ее мнением руководствуются в разных мелких вопросах. Это была любезность грузчиков: делать вид, что она может распоряжаться, а они всё выполнят. Ее грело это чувство — что она в состоянии приказывать, хотя платил за это отдел кадров. Она сознавала, что удовольствием этим обязана Нику и ему это тоже приятно. «Университет неплохо с нами обходится, а?» — сказал он. «Если бы тебе еще предоставили машину, я почувствовала бы, что мы действительно растем», — пошутила она.

Дом был маленький, с белыми стенами, парадная дверь голубая; Анне их мебель казалась громоздкой, но диван и стулья вошли легко. Кровать отправилась наверх, покорно, как ягненок. Послушно заняли свои места письменный стол,

плита и холодильник. Если бы они с Ником занимались этим сами, были бы дискуссии о том, чтобы снять двери, вносить вещи через окна и снять перила перед подъемом письменного стола. И, конечно, раздраженные указания и горячие споры. А тут Ник всего-навсего влез на стремянку и весело, шумно, устроив из этого комический спектакль, развешивал шторы, словно им первым делом надо было спрятаться от чужих глаз за надежной завесой. После отъезда рабочих они в тишине обошли дом. Рука его тяжело лежала у нее на плече, эта тяжесть ее возбудила: скоро они окажутся в постели. Она глянула из тыльного окна на сумеречный сад соседки, увидела растения, высаженные сегодня днем.

— Ты видел нашу соседку? — прислонясь к его боку, спросила она тихим голосом, словно их могли подслушивать. — Она возилась в саду, что-то высаживала. Такая деловитая…

Он обнял ее за талию, она прижалась к нему. На несколько секунд закрыла глаза, ощущая, как разогревается в предчувствии близости. Он отпустил ее и подошел к окну. Посмотрел на двор и задернул шторы, словно заслоняясь от неприятного зрелища.

— Нет, не видно ее, — ответил он, просто чтобы

что-то сказать. Понятно было, что его мысли заняты чем-то другим. — Какая из себя?

— Худенькая, светлые волосы, важная, — сказала она.

Он посмотрел на нее долгим взглядом, как бы обдумывая ее слова.

— Не в моем вкусе, — сказал он.

Она улыбнулась, ожидая, что он улыбнется в ответ, что сейчас подойдет к ней.

В этот первый вечер в съемном доме Ник зажарил баранину, купленную у мясника по соседству. Он заметил мясную лавку на центральной улице, когда они приезжали смотреть дом, — и овощную, и булочную, и отметил это как неожиданную удачу, остаток уходящего образа жизни. Закончив со шторами и не дожидаясь отъезда рабочих, он пошел за первой покупкой, за бараниной, и рассказал о двух пожилых мясниках, похожих на братьев и обслуживавших покупателя со старомодной любезностью. Она подумала, что и он постарался их очаровать своей победительной улыбкой, выказывая почти мальчишескую радость от нового знакомства.

Анна спустилась вниз и позвонила матери, и мать весело дивилась ее рассказу — о том, как удачно всё прошло, и какой погожий выдался

день, и какие сноровистые были рабочие, какая просторная спальня, какой складный у них домик, — и голубой двери, и уже работающему телефону. Боялась позвонить по новому номеру, сказала мать, — вдруг не туда попадет или что-то выключится на линии. Анна старалась не раздражаться. Мать сказала «выключится на линии», как будто это был технический термин, обозначавший неожиданные капризы связи. У нее бывали такие опасения, как будто она думала о других местах, где всё делается иначе и простейшие дела связаны с особыми трудностями.

— А что может выключиться на линии? — спросила Анна.

— Не знаю. Если позвоню, когда там еще не готово, на твоей телефонной линии может что-то испортиться.

«Выключиться», — подумала Анна.

— Как может повредить линию телефонный звонок?

— Не знаю, извини, Ханна, но, когда что-то портится в механизмах, это такая морока… Но скажи, Ник доволен? Ему нравится дом?

— Конечно нравится, — раздраженно сказала Анна. — Иначе мы бы сюда не переехали. Он с удовольствием готовит обед и запускает Майлса

Дэвиса на полную громкость. Слышишь сейчас?

— Да-да, очень мило, — сказала мать без большой убежденности, хотя Анна объясняла ей, что мир меняется и мужчина может стряпать с удовольствием.

— Как он? — спросила Анна.

Она старалась подавить неприятное чувство, вызванное собственным вопросом, — не только потому, что вопрос был обязательным, но из-за ответа, который предстояло услышать. Что скажет мать? «Ему лучше (хуже не стало)», «ему хуже (лучше не стало)». Она не скажет: «от второго удара он мог умереть». «Лежит немой, у него недержание, стонет жалобно и изводит меня не знаю как». Она не могла так сказать, это прозвучало бы жестоко и сама выглядела бы бессердечной — а возможно, она и не думала так. Пусть Анна сама думает, а мать никому не признается в таких мыслях, пусть он, упрямец, уйдет тихо — по крайней мере, она оставит его наедине со своими тайнами и молчанием. Джамала беспокоило, что кроется за его молчанием, а она устала от этого — не от недовольства им, а от бессмысленной скрытности, нежелания что-то рассказать о себе. Она уже не пыталась разгадать тайну своего смешанного происхождения и больше интересо-

валась тем, кто она есть в этой жизни, а не тем, откуда взялась. И всё же она задала этот вопрос, ради матери, пожалуй, а скорее, чтобы не выглядеть в глазах матери черствой и равнодушной.

— Ему всё-таки лучше?

— Да-да, он лучше спит, и сил прибавляется с каждым днем, — сказала Мариам. — Это главное сейчас — чтобы силы появились. Отдых идет ему на пользу — и психотерапия, и лекарства. Знаешь, я даже не представляла себе, какие чудеса делает психотерапия. За ним хорошо ухаживают, поверь.

— Ну да — ты. А сам он может что-нибудь или по-прежнему всё лежит на тебе? — спросила Анна, не в силах одолеть тошноту при мысли о том, что на самом деле означает этот вопрос. — Ты же не хочешь сама свалиться?

— Нет-нет, он с каждым днем всё самостоятельнее. Он молодцом. Обо мне ты не беспокойся, — сказала Мариам.

— Говорить еще не может?

— Нет, — после секундного колебания ответила Мариам. — Но какие-то звуки произносит… ну, не слова, а как бы хочет сложить их в слова. Физиотерапевт говорит, что это хороший признак. Я ношу ему аудиокниги из библиотеки, он много

слушает. Странно. Голоса по радио он не переносит, а книги слушает.

— Какие книги? — спросила Анна. Отец читал медленно и любимые книги перечитывал по несколько раз. Иногда она сама покупала ему книги, чтобы разнообразить его чтение, — книги, которые ее увлекли в студенческие годы, — но она не была уверена, что он их прочел. Ей казалось, что он предпочитает книги познавательные, рассказывающие о том, чего он не знал, а разные художественные ухищрения не в его вкусе. — Какие книги он слушает?

— Иногда стихи ему приношу, какую-нибудь классику.

— Стихи! Зачем ты носишь ему стихи? — спросила Анна, не в силах скрыть раздражение. — Почему не то, что ему захочется послушать? «Гекльберри Финна», что-нибудь такое?

— Они ему нравятся, — сказала Мариам, и Анна услышала улыбку в ее голосе. — Иногда он брал в библиотеке книжки со стихами и читал мне вслух. На этой неделе я поискала их в отделе аудиозаписей, принесла ему, чтобы послушал, и он был доволен.

Анна улыбнулась, представив себе эту странную картину: отец читает маме стихи. Что он

мог выбрать? «Если» Киплинга, или «Нарциссы» Вордсворта, или что-нибудь о море? Может быть, «Вкушающие лотос» Теннисона — сладенькие рифмы в соединении с «Одиссеей» — то, что нужно. Однажды она купила ему «Дневник возвращения в родную страну» Эме Сезера, двуязычную — сама недавно узнала эти стихи и была под сильным впечатлением. Ну, может быть, и порисоваться хотела: «Смотри, какие книги я теперь читаю!» Она не знала, прочел ли он книжку, да и сама охладела к гремучим рифмам, пышному языку и театральности эмоций. Пока мать говорила о книгах, которые отцу предстояло послушать на этих неделях, и об улучшениях, обещанных физиотерапевтом, мысли Анны вернулись к сегодняшней близости с Ником, и она погладила левую грудь — к ней прижимался Ник. В ответ на слова матери она издавала одобрительные звуки, но на самом деле уже не слушала.

— Приеду, когда у вас немного наладится, — сказала Анна, готовясь повесить трубку.

Почувствовав, что Анна хочет закончить разговор, мать спросила о Джамале.

— У него есть твой новый номер? Он тебе не звонил?

— Да, да, — соврала Анна, чтобы избежать

лекции о том, что надо поддерживать связь. Он предпочитал имейлы, ее это устраивало, но прослушать лекцию всё равно пришлось. — Вас у меня всего двое. Другой родни у вас нет. Вы должны заботиться друг о друге; наступит трудное время — к кому еще вам обратиться?

Анна слушала и успокаивала как могла. Не сказала, что еще у нее есть Ник (и был с ней всецело сегодня днем).

Мариам почувствовала раздражение дочери и, положив трубку, пожала плечами. Она приучила себя не обижаться на такой слегка пренебрежительный тон. Вернувшись в гостиную, она поняла по взгляду Аббаса, что ему интересно.

— Ханна, — сказала она. — Спрашивала, как ты. Они сегодня переехали.

Аббас медленно кивнул и повернулся к молчащему телевизору, где шла передача о природе. Он тоже заставил себя отдалиться от Ханны, прежде занимавшей такое большое место в его жизни. Она отстранилась от него, став студенткой, не грубо, не сердито поначалу, а хмуро и молчаливо. Мариам понимала, как ему это больно и как он пытается вернуть ее способами, действовавшими раньше: поддразниванием, вопросами, шутками. Но это уже не помогало, и однажды, когда Аббас

неуклюже подшутил над ее нарядом, Ханна сказала ему: «Отстань ты!» и вышла из комнаты и вон из дома, дальше, неизвестно куда. Он был ошеломлен. Она никогда с ним так не разговаривала. Аббас не мог к этому привыкнуть — и к тому, как она говорит о ребятах из университета, и подолгу спит днем, и не скрывает скуки, находясь дома. Иногда он мог что-то сказать. В конце концов она перестала приезжать на каникулы — заглядывала на несколько дней и уезжала. Может быть, так происходит у всех, и они научились глотать обиду: что ж, надоели детям.

Мариам снова занялась счетами. Двадцать пять лет жили они в этом доме, и всегда ими занимался Аббас. Началось это, когда она забеременела Ханной. А до тех пор они не заморачивались по этому поводу, пока положение не становилось угрожающим. Но потом они переехали в Норидж, он поступил на работу, а она забеременела. Как только сказала ему об этом, он настоял на женитьбе. Его ужасала мысль, что кто-то может назвать ребенка незаконнорожденным. Он сделался экономным, проверял каждый счет, от всех легкомысленных трат отказались. Так продолжалось годами, но когда накопилось достаточно, купили дом на Гектор-стрит. День переезда она

помнила так, словно это было вчера и, вспоминая о нем, улыбалась. Товарищ с работы приехал на фургоне, потому что ни он, ни она водить машину не умели. Аббас сказал, что надо было просто взять обыкновенную тачку и перевезти их скудное имущество из съемной квартиры. Но она ответила, что это далеко; Ханне было два года, и на подходе был Джамал. Аббас сказал, что это просто шутка, но она сомневалась. Она взглянула на Аббаса с улыбкой и задержала на нем взгляд — он с каменным лицом смотрел на экран телевизора. Удалой моряк сделался рачительным хозяином. Вдохновенным. Он клеил обои, постелил в ванной плитку, починил то, что нуждалось в починке, и оказался неутомимым садоводом. Посадил овощи, цветы и сливу. Построил мощенную плиткой террасу перед задним фасадом. В скором времени сад распирало от роз, томатов, слив, фенхеля, жасмина, красной смородины, росших как попало и где пришлось. Это естественное расселение, говорил Аббас, а не армия растений, марширующих строем. Однажды она увидела, что он строит деревянный домик, и спросила, что это. Он сказал, что это курятник. Она отговорила его, и вместо кур купили кролика. «Детям радость», — сказала она. Но

кролик эту радость не разделял и вскоре сбежал. Куриный домик отправился в гараж, последовав за многими предметами, и до сих пор был там. Ни он, ни она не любили выбрасывать вещи.

Джамал обожал играть с барахлом в гараже. Он был тихий мальчик, любил играть один — Мариам даже волновалась. Но Аббас сказал: «Нет, оставь его в покое. Он такой вот, *kimya*. Такие люди бывают».

Наверное, Джамал уже переселился в однокомнатную квартирку, но она полагала, что он еще несколько дней не позвонит, не сообщит свой адрес. Он почти никогда не звонил — а то вдруг сам появлялся. Они сидят вечером, слышат ключ в замке — и он на пороге: «Здравствуй, мама, здравствуй, папа, как вы тут? Решил заехать на несколько дней». Аббасу это страшно нравилось — что он вот так может нагрянуть домой. И ей тоже. Только вот хорошо бы позвонил иногда, сказал, где живет и что всё у него хорошо.

Комната у него была просторная, с кухонькой в углу: маленький холодильник, раковина и короткий столик с тостером и микроволновкой. Что еще студенту нужно? Угол комнаты был отгорожен стенкой — там уборная и душ. Кровать и шкаф — с другой стороны. Письменный стол

под окном, рядом кресло для чтения. Компактная, хорошо организованная комната студента — спартанская ее обстановка и порядок радовали Джамала. Окно выходило на маленький сад, и Джамал увидел соседа, красившего сарай. Увидел мельком, со спины — седого мужчину, с засученными рукавами, у металлического стола, на котором стояла большая банка с краской. Он заканчивал красить стену. Джамал увидел, что незакрашенная часть зеленая, а красит сосед в кремовый. Он впервые видел, как красят сарай.

Стены его комнаты тоже были свежеокрашенные и голые. Надо будет повесить картинки, но не те, что в прежней комнате, — вырезки из журналов и газет, накопившиеся за последние годы: озорные, комические. На одной Джуниор Уэллс в черном шелковом костюме танцевал кэкуок. Уэллс выглядел так, будто это ему безумно нравится. Джамалу было приятно на него смотреть. На другой картинке Нельсон Мандела и Табо Мбеки в дорогих одеждах танцуют той-той на платформе, а над ними пролетают самолеты южноафриканских ВВС — парад по случаю перехода власти к новым правителям Южной Африки. Танцуют тот самый танец, который пыталась истребить террористическая власть при помощи

пушек и бронетранспортеров «Касспир». Еще у него была открытка с голодным раненым человеком — инуитская резьба на китовом усе. Более трогательного изображения он в жизни не видел. Эти картинки он уберет, чтобы когда-нибудь наткнуться на них и вспомнить, каким он видел мир когда-то. А сейчас он повесит пейзаж какой-нибудь, с водой и холмами и, может быть, одиноким деревом в отдалении, пейзаж просторный и таинственный, обещающий внимательному зрителю что-то неожиданное. Он чувствовал, что сейчас какой-то важный момент в его жизни, но не понимал, откуда это чувство. Может быть, предстояло принять важные решения, впервые в жизни выбрать, как строить жизнь дальше. Он подумал об этом, но пришел к выводу, что дело в чем-то другом. Может быть, в том, что близился конец докторантуры, в ощущении, что работа заканчивается и он воспринимает себя взрослым, действующим лицом. Было такое чувство, но это было удовлетворение труженика, удовольствие от того, что работа сделана (почти), а не ожидание того, что мир сейчас откроется по-новому. А может быть, от того, что сидел у кровати отца, медленно умирающего в больнице, — может быть, это рождало предощущение неизбежного,

близкого просветления, к которому надо приготовиться. В этом расположении духа его тянуло к самоограничению, и, лежа в темноте, он рисовал себе пейзаж, пустынный, но не бессмысленный, обманчиво ясный, притягательный, требующий истолкования. Оно не было тревожным, это предчувствие перемены, просто присутствовало, как ритм, который он иногда позволял себе услышать, а возможно, это была всего лишь иллюзия, самомнение.

Позже, снова выглянув в окно, он видел, что сарай соседа полностью окрашен и нежно светится в сумерках. А еще днем заметил мельком, что сосед темнокожий. Поэтому он красил сарай — пережиток другой культуры? Он попытался вспомнить, окрашена ли у соседа парадная дверь. Сородичи его красили всё, стремились оживить английские каменные стены. Не понимали, как любят местные свой сумрачный камень. Худощавый седой человек в клетчатой рубашке и вельветовых брюках. Садик у него был опрятный: кусты, какой-то вьюн, все еще не совсем проснулись. По краю уже цвели подснежники и желтые нарциссы. Он подумал, откуда мог приехать сосед. Всякий раз при виде чернокожего, пожилого, как сосед, хотелось спросить: «Откуда

вы? Издалека ли приехали? Каково вам в такой дали? Неужели там было так нестерпимо? Наверное, раз вы предпочли жить в этом некрасивом северном городе. И как вам жилось здесь все эти годы? Приросли?»

На некоторые вопросы он сам знал ответ. Он изучал это — направление миграции, политику Европейского союза. Он мог описать потоки, политический контекст, отличить волну из Магриба и ее направление от волны из Зимбабве и ее рассеяния. Он составлял таблицы, рисовал диаграммы и знал, что за каждой точкой в них — история, которой его графики не могут передать. Знал это от отца, понимал по лицам, встреченным на улице, и по молчаливым пробелам в разных докладах. Он знал, что приводит людей в такую даль и позволяет мириться со столь многим: страх, стремление к успеху, отчаяние, непонимание. И сопротивляться этой тяге могут не больше, чем приливу или грозе. От столького надо отказаться, чтобы продолжать жить. Но это не из области науки. В науке ты должен сначала дать явлению название, а потом изучать его, не обращая внимания на боль. Ее предоставь другим.

Но, может быть, он наговаривал на седого сосе-

да, преждевременно придумывал ему трагедию или желал ему зла, а на самом деле тот был доволен, возделывал свой сад, жил с семьей, красил сарай и гордился достигнутым вдали от родины. «Из Южной Азии, — предположил он по беглому впечатлению, — или с юга Аравии, может быть, из Йемена. Их — нас — таких миллионы, не вполне сросшихся с новой средой, но, с другой стороны, сложным образом укоренившихся. В этом можно найти счастье».

Дворик же позади их дома был типичный студенческий дворик с нестриженой травой, бугорками мусора там и сям, сломанным стулом, пустыми бутылками и кучками гниющих сорняков. Глядя на этот уютный беспорядок, Джамал улыбался. Он представлял себе, как больно было бы увидеть это запустение отцу. Как-нибудь днем, когда потеплеет, он попросит соседей из нижней квартиры помочь ему убрать мусор. Он уже познакомился с ними. Они сами пришли, Лайза и Джим. Джим был студентом-статистиком, строил модели миграции птиц, а она работала в библиотеке. Джамал подумал, что они захотят помочь. По ним было видно: люди компанейские, с удовольствием примут участие в работе. Может быть, даже посадят цветы, какие-нибудь ранние,

яркие: петунии, маргаритки, ноготки. Женщина, жившая в квартире напротив, еще не вернулась с пасхальных каникул — но она симпатичная, сказала Лайза. Приехала она через несколько дней и оказалась красавицей; звали ее Лина, сокращенное от Магдалина. У нее были синие глаза, яркие, и она улыбалась, радуясь знакомству. Она была смуглая, как будто с глубоким загаром, и в темных волосах ее проглядывала рыжина. Она писала работу об ирландских поэтессах девятнадцатого века. Он был рад, что поселился в доме с такими симпатичными соседями, — как будто в местности, радующей глаз.

Первые две ночи в новом доме Анну посещал один и тот же сон. До этого несколько недель его не было. А раньше, бывало, она видела его каждую ночь и он длился часами. Через несколько ночей прекращался и после перерыва непредсказуемой длительности возобновлялся. Снился дом. Она жила только в части дома, в остальной царила разруха: потолочные балки провисли, оконные рамы растрескались и подгнили. В доме присутствовал кто-то еще, она его не видела, но он существовал поблизости, вне поля зрения. Не Ник, чаще не он. Проснувшись, она иногда думала, что это был Ник, а иногда — что кто-то из

знакомых мужчин. А сам дом был незнакомым, даже по картинке. Всё в нем было непривычным. Полуразрушенная часть напоминала сарай, пустой и видимый из всех других частей дома. Странным, неприятным образом она ощущала, что и сама видна разрухе, словно разруха была живым существом. Эта часть дома была коричневой, но не настоящего коричневого цвета, а как бы цвета изнеможения. Краска лупилась, балки и перила перекосило от старости и усталости. Разруха была зловредной, настороженной — обвиняла.

Этот сон длился часами и окрашен был чувством вины. Она взбиралась по узкой лестнице, с трудом открывала пыльные двери на ржавых петлях, смотрела, что нужно чинить. Объясняла свой план кому-то невидимому, тот слушал и не отвечал. Объясняла, что требуется сделать, когда удастся начать, говорила о знакомом строителе, который хорошо выполнит работу, о плотнике, который не станет заламывать цену. Всё это было ложью — не знала она ни плотников, ни строителей и даже во сне понимала, что врет своему слушателю. А если и знает плотников и строителей и может нанять их за скромную цену, она знает и то, что они не смогут остановить распад

и гниение в доме, а ее избавить от чувства вины. Во сне она знала причину своего страдания и вины, но, проснувшись, уже не помнила. Наверное, это было связано с ремонтом дома — что она за него отвечает — и не справилась. Но она не была уверена, что именно этим вызвано упорное ощущение своей неправедности, преследующее ее во сне. Не была уверена, что этот заброшенный дом не был обителью страданий, боли, возможно, продолжающихся и сейчас. Ник в этом сне не появлялся, но иногда был где-то совсем рядом — она чувствовала. Но не был он и невидимкой, с которым ей необходимо объясниться. Она не знала, кто этот невидимка и почему она должна перед ним объясниться.

Когда она рассказала свой сон Нику, он расстроился. Рассказала она не сразу, а только тогда, когда сон стал навязчивым. Она не знала, почему откладывала свой рассказ, — потому ли, что не было подходящего момента, или больно было вспоминать сон, или слишком острым было чувство вины, или боялась, что он посмеется над ее желанием расшифровать смысл сна. Так повелось у них — смеяться друг над другом, когда кто-то из них торжественно заговаривал о «жизненных трагедиях» (слова эти произно-

сились с комически удрученным лицом). Они старались не усложнять своих отношений, и это рождало в Анне зрелое чувство пропорций, не позволяло ей относиться к своим огорчениям как к чему-то исключительному. Она смеялась над «жизненными трагедиями», чтобы не впасть в самомнение, которое, ей казалось, порождается ощущением трагичности. Она думала, что Ник смеется над этим по сходной причине, но с некоторыми отличиями. У него это связано с желанием казаться уравновешенным, человеком умудренным, чуждым жалости к себе, человеком офицерской закваски, но когда дело касалось его *работы*, он был совершенным эгоцентриком.

В общем, она не сразу рассказала ему об этом сне. Сон был и зловещим, и гадким, угрожал ей и намекал на какой-то ее проступок, не называя его; рождал в глубине души неопределенный страх, и ее душил смрад, медленно сгущавшийся в комнате. Может быть, она потому не сразу рассказала Нику, что хотела перед этим лучше разобраться в своих чувствах, — боялась, что он не воспримет это серьезно, отмахнется, отделается шуткой.

Больше всего его огорчало то, что она чувствует себя виноватой.

— Да в чем дело-то? — спрашивал он. — В чем

ты себя винишь? Это из-за отца? И что не так с домом? Чем он тебе плох?

— Я не знаю, как устроены сны, — сказала она, не ответив на вопрос об отце. — Не думаю, что снятся тебе вещи, которые тревожат тебя сами по себе. И что сны всегда о том, что беспокоит тебя конкретно. Понимаешь, если снится дом, это еще не значит, что тревожишься именно из-за дома.

Ник сделал презрительную мину.

— Спасибо, что прояснила для меня этот вопрос.

На этом разговор закончился. Она хотела продолжать, сказать о жути этого сна, о его неправдоподобии, об угрозе, таящейся в нем, но видела, что его эти глупости раздражают, и оставила тему. Когда на него находило, он мог быть свиньей. Она не знала, стоит ли сказать ему, что после переезда сон вернулся. Вероятно, это и было вызвано переездом, и со временем сон сам собой уйдет, и не надо будет ломать голову над его смыслом.

Ник сразу же отправился на работу, чтобы отвезти доставленные книги в кабинет. В те недели, когда он ездил на работу в город, он держал там лишь несколько самых нужных книг, и часто ему не хватало каких-то текстов. Конечно,

лучше, когда всё необходимое под рукой. Он сказал, что ненадолго, но она сомневалась. Да и неважно: она пока распакует коробки. Она терпеть не могла, когда вещи непонятно где рассованы. «К обеду», — сказал он, но она сомневалась. Он любил, чтобы все вещи были на своих местах. Она представляла себе, что книги будут расставлены по системе, по тематике, а там в алфавитном порядке, по авторам, век за веком. На столе — несколько журналов, ручки, и к доске приколоты нужные картинки. Так что, войдя в кабинет, сразу увидишь: вот серьезный ученый. Так он размещал вещи дома, где произвести впечатление можно было лишь на нее одну. Но, возможно, суть была не в том, чтобы произвести впечатление: это отвечало его представлению о самом себе — даже если некому было видеть это, ему важна сама атмосфера учености.

Утром, прямо перед отъездом, он сказал, что получил СМС от матери с приглашением провести пасхальные выходные у них. Анна ничего не сказала, но внутренне поморщилась. Он не любил, когда она высказывалась критически о визитах к его родителям, но подумала она: «Ох, черт, опять на Пасху!» Первый раз она была в гостях у родителей Ника тоже на Пасху, вскоре после того, как

познакомилась с ним, — прямо перед началом каникул в школе. Она преподавала третий год в школе на Кингс-Лейн, которая из-за причуд районирования относилась к Уондсуорту, хотя до Брикстона было рукой подать. Но поэтому школа и нравилась родителям: в нее не попадал микрорайон многоэтажек, населенных хулиганистыми темнокожими ребятами, у которых школа была в соседнем Ламбете. Она пошла на вечеринку к одному из учителей школы, жившему в Уондсуорте. Ник, сосед по дому, был его приятелем. Он был высокий, но не очень, с виду спортивный и сильный, но не громоздкий; карие глаза светились умом. Улыбка была такая широкая, как будто готов расхохотаться. Их познакомили; она увидела в его глазах интерес. Такого нельзя было не заметить. Они разговорились, разговор заискрился, всё сказанное было невероятно забавным и остроумным. Соблазнена мгновенно и не могла дождаться, когда это осуществится: по тому, как их тела тянулись друг к другу, как порхали их руки, понятно было, что ждать недолго. Она была свободна, у него заканчивался роман, так что сложностей не предвиделось. И правда, всё произошло так быстро, что через несколько дней она по выходным практически уже жила в его квар-

тире. Он хотел, чтобы она переехала немедленно, но она сказала: «Нет, не будем торопиться». Он собирался на Пасху к родителям и сказал:

— Давай поедем. Места там хватает. Я позвоню, спрошу?

— Я обещала на Пасху навестить отца и мать в Норидже, — сказала Анна (с трудом произнеся «отца и мать» вместо «папы» и «мамы»). Но она видела, что Ник хочет ехать с ней, и ей самой было любопытно. — Пожалуй, я съезжу в Норидж до праздников, а потом — к тебе.

— Прекрасно, — сказал Ник. Он позвонил родителям, сообщил про Анну, и они сказали: «Привози ее. Будем счастливы познакомиться». Они должны были приехать в субботу к ужину, а в воскресенье утром пойдут в церковь: если Анна захочет с ними — отлично. А потом домой, обедать. Сестра Ника с другом тоже будут, но они приезжают только на один день.

Это было больше двух лет назад, задолго до того, как заболел отец. Как и обещала матери, она приехала в Норидж дня за два до Пасхи. На ней была блузка с глубоким вырезом, и она прочла в глазах отца неодобрение. Она была готова к этому, но твердо решила не одеваться как скромница, только чтобы ему угодить. Эта борьба шла у них с

тех пор, как она поступила в университет. Когда она надевала что-то обтягивающее или короткое, он ее осуждал. В прежние годы он отправлял ее наверх переодеться, и бывало, она подчинялась, чтобы избежать склоки. «Что подумают люди, когда увидят тебя в таком наряде? — говорил он. — Что мы не воспитали в тебе самоуважения». В конце концов он устал от препирательств и взаимного недовольства и старался не обращать на нее внимания, обидевшись, что она игнорирует его наставления. Когда она была моложе, всё обстояло не так. Тогда она не могла ослушаться. Но теперь она стала молодой женщиной, он тиранически требовал уважения, а она уже не уступала. И он отстранился, старался не замечать того, что не одобрял.

Она вспоминала, как мама целовала ее, отодвигала на длину вытянутой руки, чтобы полюбоваться ее красотой и похвалить наряд, — добрая мама. Папа справился с собой и тоже ее поцеловал. Она взяла его за руку и повела в комнату, зная, что он не устоит перед ее лаской. Она рассказывала ему о своей работе в школе и своих планах, о детях, о тех, что развиты не по годам. Он слушал почти молча, улыбался и вскоре, кажется, забыл о блузке. Уверив его (и себя), что относится

к жизни серьезно и трудится, думая о будущем, она ушла на кухню, где мать готовила обед, и рассказала ей о Нике. Отцу о своих поклонниках она уже не рассказывала. Он считал, что их слишком много. Почему не подождать, когда появится тот, кто действительно нужен? И всегда спрашивал: «А он англичанин?» Он кого ждал? Греческого бога? После первого поклонника она больше не знакомила их с отцом. Его звали Мартином, того первого, и отец познакомился с ним, когда родители приехали за ней после первого семестра в университете. Прощаясь, она поцеловала Мартина. И всю дорогу до дома отец с ней не разговаривал. Потом, на каникулах, когда Мартин звонил ей, отец каждые две минуты выходил в переднюю, чтобы отогнать ее от телефона. «За этим мы отправили тебя в университет? Чтобы сделать из тебя английскую девушку?» Вообще-то, не они отправили ее в университет, она сама отправилась благодаря собственному усердию и способностям. После этого знакомить его со своими молодыми людьми она избегала, а со временем и рассказывать о них перестала.

Мать о Нике не высказалась; она хотела рассказать Анне о препирательствах с доктором Мендес касательно своих проблем с пищеварением. Анна

была девушка здоровая, организм не доставлял ей никаких неожиданностей или неприятностей. Если она чувствовала себя неважно, то, в общем, знала почему. Она не могла воспринять всерьез затруднения матери с кишечником и слушала из вежливости. Доктор Мендес не хотела вникать в жалобы Мариам, и мать огорчалась, что не может переубедить доктора.

— Какая дрянь эта твоя докторица! Ты должна обратиться к другому специалисту.

— Я не знаю, где взять другого, — сказала Мариам. — Она говорит, тут не о чем консультироваться.

— Твое тело — твое дело, — мудро заметила дочь. Ей показалось, что мать эти слова озадачили. Она не могла понять, почему мать робеет перед доктором. Она представила себе, как мать сидит перед этой стервой, а та говорит ей: «Женщины вашего возраста — законченные ипохондрики. Идите домой и заварите себе чайку». А может быть, всё происходило не так — мать просто неправильно поняла врача, или сама неясно описала жалобы, или ей надо было поупрямиться, немного поспорить. После обеда Анна еще посидела с родителями — мама болтала, отец слушал и помалкивал, пребывая где-то в своем

мире. Иногда она чувствовала себя посторонней в их обществе, но сейчас понимала, в чем причина. Они плыли по течению, не барахтались, одинокие рядом друг с другом. И выбрали такую жизнь сознательно, думала она, закрылись, жили робко, ожидая равнодушия и пренебрежения. Она не могла дождаться завтрашнего отъезда. Вспомнила, как, приезжая домой на каникулы, она и Джамал шептали друг другу: «Добро пожаловать в морг». На следующий день, сев в поезд из Нориджа в Чичестер, где жили родители Ника, она чувствовала себя предательницей.

«Этот ген скупости вылез неожиданно». Так она сказала ему — он удивился, а потом задумался, и она испугалась, что обидела его. Она хотела просто подразнить, но забыла, что он сам однажды сказал ей, что его родитель был скаредом. Она понимала, что он стал скупиться потому, что на подходе была Ханна, — и преуспел в этом сверх ожидаемого. Она только изображала досаду и раздражение, а на самом деле приняла режим экономии. Так она чувствовала себя взрослой, способной отказывать себе, наполнить их совместную жизнь смыслом.

Когда Ханна была младенцем, он держал ее тельце в пригоршне, как хрупкий предмет. Ее

клали на коврик на полу, и он обкладывал ее подушками и одеяльцами, чтобы не скатилась. Когда она издавала недовольный звук, он настораживался, а иногда сам повторял этот звук, словно говоря ей, что испытывает то же самое. Придя домой с работы, сразу спрашивал, не спит ли она и можно ли ее подержать. Тогда он клал ее на колени, двигал ими из стороны в сторону, хихикал и напевал ей, а она улыбалась и гулила, как будто никогда не видела ничего подобного. Если она вдруг начинала плакать ночью, он говорил: «Неси ее сюда» и клал ее между ними. Мариам не могла отделаться от чувства, что это неправильно, что они ее избалуют. Ей говорили в женской консультации, что надо дать ребенку плакать, но он не мог этого допустить. Чтобы малышка плакала, как будто она никому не нужна? Он баюкал ее, укоризненно качая головой, издавал смешные звуки, пока она не затихала. А если не успокаивалась, он начинал волноваться, утешал и так и сяк, пока она не засыпала. Ханна открыла в нем запасы нежности и терпения, о которых никто и не подозревал. К тому времени, когда родился Джамал, изумление перед совершенством первого ребенка немного ослабло, но Джамал принес новые неожиданности. Он

оказался таким тихим, блаженным ребенком, что Мариам даже обеспокоилась. Он долго не мог научиться ходить и говорить. «Оставь его в покое, — сказал Аббас. — Он думает. Смотри, как наморщил лобик, — это лоб мыслителя». Ханна рано научилась говорить, она часами щебетала с Джамалом, вовлекала в свои игры, а он лежал на матрасике в колыбели и, довольный, морщил лобик. Терпеливый. Так объяснял Аббас жене. Терпеливый маленький мужчина.

Когда они подросли, Аббас попытался вести себя с ними строже: меньше смешочков и поцелуйчиков, больше указаний и наставлений. «Приучайтесь к самостоятельности. Нельзя, чтобы люди над вами потешались. Жизнь не праздник». Она смеялась над этим — иногда ей казалось это неискренним, преувеличением. Всё время сохранять строгость он не мог, и часто в нем просыпалось былое озорство. Он слишком ответственно относился к своим родительским обязанностям, и ей хотелось сказать: «Поиграй с ними, посмейся, не бойся ты за них всё время». Потом они стали подростками и хотели уже всё делать по-своему и не всегда так, как ему нравилось. Но еще до этого она почувствовала, что Аббас отдаляется всё больше, — куда-то, где его

уже трудно достать. Иногда лицо у него делалось хмурым и в глазах проглядывало что-то, что она не могла истолковать иначе как боль. Как будто дети возвращали его к чему-то, о чем он приучил себя не думать. Когда она спрашивала его, он удивлялся или изображал удивление и говорил, что всегда есть повод тревожиться за ребенка. Говоря это, он виновато улыбался, и она прекращала расспросы. Детей его молчание смущало, она видела это. Оно пугало их. Ей казалось, что он не всегда это понимает, а его обижало, что дети его сторонятся, как будто отвергают его. И, возможно, он был прав: дети доставляют много беспокойства.

Когда они родились, ей шел только третий десяток, и впервые в жизни казалось, что все тревоги позади. В каком-то смысле она ощущала, что взрослеет вместе с ними, и ей нетрудно было разделять с ними их забавы. Из-за детей она ощутила разницу в возрасте — своем и Аббаса. Как же его раздражала порой их болтовня! Как не удавалось ему порой разделить их веселье! Он старался, он прятал улыбку, когда считал, что надо проявить строгость, и покупал им нежданные подарки. Но иногда ей казалось, что он старше своих лет.

В ту первую пасхальную субботу Анна ехала в

Чичестер с некоторым волнением. В семьях ее прошлых приятелей ей никогда не предлагали остаться на ночь. С Ником она была знакома всего месяц с небольшим, и, по его рассказам, родители его были люди чопорные, благополучные, знающие себе цену и о других судили строго. Могут встретить ее холодно — вторглась в семейный праздник, и она задавалась вопросом: рады ли они тому, что пригласили ее. Ник, сам того не желая, изобразил их людьми, которым трудно угодить, придирчивыми; рассказал о случавшихся трениях с ними и кое о чем, что они в нем не одобряли. У нее было такое чувство, что ее будут оценивать и она, конечно, произведет неблагоприятное впечатление, но выбора не было: только постараться угодить, быть внимательной, изображать простодушие. Но когда она вошла, мать Ника обняла ее с широкой улыбкой и поцеловала в обе щеки. Это была стройная женщина с худым лицом, светлыми волосами, коротко стриженная, в светло-серой блузке и узорчатой юбке. Минуту она не отпускала Анну и с улыбкой в голубых глазах, чуть отодвинувшись, всматривалась в ее лицо.

— Рада, что вы нас посетили, Анна, — сказала она. — Мы столько о вас слышали.

Вежливость была заученная, но Анне всё равно понравилась — и сама по себе, и потому, что слова и тепло в голосе хозяйки рассеяли страх, с которым она вступала в дом. Она подумала, что тепло это — особый дар, который бывает у женщин определенного возраста, непринужденная любезность, отличавшая и ее мать, намеренная мягкость, призванная подбодрить и успокоить, и в самих ее телодвижениях читались расположенность и теплота. Нечасто Анна встречала женщин, наделенных подобным талантом.

— Я Джилл, — сказала она. — А это — Ральф.

Отец Ника, стоявший в стороне, подошел и подал руку. Это был высокий мужчина лет шестидесяти, с седыми волосами, уже редевшими на висках. Пожимая ей руку, он с веселой галантностью слегка согнулся в талии. На нем были голубой пиджак и рубашка с открытым воротом, и вид у него был официальный, хотя он старался вести себя по-домашнему.

— Здравствуйте. Заходите, прошу вас, — сказал он с улыбкой и отступил в сторону, пропуская вперед жену и гостью. Войдя в гостиную, Анна сразу убедилась в том, что ощутила еще при взгляде на дом: здесь чувствовалось богатство. Большая комната была обставлена старинной

мебелью, стиль которой она не могла определить, но всё было в идеальном состоянии. Окна выходили в большой сад с лужайкой и какими-то цветущими деревьями. В вечернем свете трудно было разглядеть подробности, но в конце сада виднелась беседка, увитая зеленью, и в сумерках поблескивала рядом вода.

Ник сидел рядом с ней на диване, а Джилл и Ральф расспрашивали ее о поездке, предлагали напитки.

— Вы, наверное, проголодались, — сказала Джилл, — обед скоро будет готов.

На столе стояли цветы, свет был приглушенный, и, когда сели за стол, Анна оценила изысканную простоту угощения и уют столовой. Беседой руководил Ральф: распределял роли, мягко подсказывал, время от времени поглядывая на Джилл, как бы ища одобрения. Иногда она повторяла одну или другую его фразу, но в этом эхе не было благоговения. Муж говорил, она ела молча, но Анна чувствовала, что она уверена в себе. Вспомнилась мать — сколько всего внушало ей робость: соседи, учителя, врачи. Она подумала, что упрямая испанка-врач вела бы себя по-другому с матерью Ника. «Историческое наследие, — думала она. — Многовековое влады-

чество в мире сказалось на самооценке, хотя не прибавило великодушия и чуткости». А тут еще и личные достижения. Ник говорил ей, что мать заведует больницей (а ее мать когда-то была в больнице уборщицей), то есть у нее профессия, важный пост, огромное жалованье, независимость. Анна представила себе, как вежливо могла бы Джилл запугать при случае ее маму Мариам и, если понадобится, сделает это не колеблясь. Противный холодок пробежал по спине, словно Джилл и в самом деле так поступила с матерью. Джилл, должно быть, что-то почувствовала — она вопросительно заглянула Анне в глаза, слегка наклонив голову, как бы готовая услужить. Анна помотала головой, улыбнулась и продолжала слушать Ральфа — с ощущением, что возвела напраслину на Джилл, которая так дружелюбно ее встретила и приняла.

Пока она думала об этом, Ральф говорил о Зимбабве, и она переключила внимание на него. Он говорил о кампании, затеянной властями, еще только начавшейся: отобрать землю у фермеров — потомков европейцев-колонистов — и раздать крестьянам-африканцам. Он говорил, что независимо от того, насколько справедливы или несправедливы эти планы, повернув стрелки

часов назад, ситуацию не улучшишь, тем более что эти фермеры сегодня — опора экономики.

— Понимаю, это выглядит как логика победителей, — сказал он, и она увидела, что Ник кивнул. — Но надо заглядывать дальше исправления исторической несправедливости. Иначе мы совершим новую, и все из-за этого только обеднеют.

— Папа, ты одно только слово пропустил, — сказал Ник. — *Вернуть* землю африканским крестьянам. Ведь ее отняли всего несколько поколений назад. Люди еще помнят, что земля принадлежала им.

Ральф улыбнулся и кивнул. Он заговорил мягко, дружелюбно. В их диалоге не было горячности.

— Есть очевидные прецеденты: рано или поздно землю приберут к рукам политические бароны — такого следует ожидать в любом обществе. И я не знаю, сколько земли *вернется* крестьянам в данной ситуации и любой похожей. Но в любом случае подумай о юридической стороне дела, о компенсациях, о размежевании сложных современных ферм на мелкие наделы, не говоря уже о нарушении конституционных прав. Ведь это примерно то же, что вернуть шотландским горцам земли, отнятые у них в восемнадцатом и

девятнадцатом веках овцеводами. Возможно, это отвечало бы каким-то идеалам справедливости, но создало бы немыслимые сложности и новые несправедливости. На эти дела надо смотреть в дальней перспективе, не упираясь в одни лишь нынешние и недавние жестокости. Это рождает только парализующее ощущение недовольства, а потом и безрассудный экстремизм.

— Не потому ли мы так спокойно об этом рассуждаем, что сами не сталкиваемся ежедневно с этими жестокостями? — сказал Ник. — Вряд ли ты рассуждал бы спокойно, если бы стал бедным в результате такой несправедливости.

Ральф виновато пожал плечами. Анна подумала, что в этом неуверенном жесте была некоторая театральность — на самом деле он излагал свои твердые убеждения.

— Тем больше, по-моему, причин сохранять рациональное, взвешенное отношение к тому, что на первый взгляд представляется непереносимой несправедливостью. Мы должны смотреть вдаль, когда пытаемся исправить то, что сегодня неправильно. Надо думать о новых проблемах, которые мы создадим, решая нынешние, — и вот о чем не беспокоится Мугабе.

Ник тоже пожал плечами, и Анна подумала,

что у них уже не первый такой разговор и он снова зашел в тупик. Отец с сыном улыбались друг другу, молча условившись оставить тему. Анна с некоторым неудовольствием подумала о том, что они рассуждают о несправедливостях безучастно, а потом переходят на что-то другое, но и позавидовала тому, как им легко друг с другом.

Ральф заговорил о недавней деловой поездке в Тунис. Рассказывал умело, меняя сюжеты, как будто их у него был целый ящик и он мог выбрать тот или иной по желанию. Рассказчик он был не утомительный и говорил неторопливо, словно проблемы были не очень важные, просто излагал сюжет или свое мнение, полагая, что они могут показаться интересными. Иногда он подавался вперед для убедительности, и Анна подумала, что это приятная манера, ненавязчивая и скромная, словно он не был уверен, что сюжет может заинтересовать слушателей сам по себе.

— Невежественному гостю, такому как я, — говорил он, — город кажется спокойным, мирным, благополучным. Магазины полны товаров, кафе и рестораны забиты людьми. Прохожие спешат по своим делам. Я остановился в элегантной, уютной гостинице, полной жильцов — по моему впечатлению, тунисцев, а не богатых иностранцев, не

туристов. В воскресенье пошел прогуляться в парк — многолюдье, семьи занимаются тем, чем положено заниматься в воскресный день в парке. На улицах все нарядные, особенно женщины, неважно, в национальных одеждах или в модных современных. Так что для меня было сюрпризом, когда мой хозяин — тоже тунисец — посоветовал мне не показывать рукой на стену вокруг приморской виллы, не задерживать взгляд на вооруженных полицейских, прогуливающихся перед молом, не глазеть на дома, привлекшие мое внимание. Инструктируя меня, он нервно отворачивался от виллы и от полицейского, как будто опасался, что его слова могут долететь туда или их прочтут по его губам. Это было на экскурсии в Карфаген — тот самый Карфаген, о котором мы все знаем. У президента там приморская вилла — на нее я как раз и показывал пальцем. По-видимому, аппарат безопасности там нервный и жестокий и очень подозрительно относится к тем, кто проявляет малейший интерес к Большому человеку. Хотя, глядя на то, как люди спокойно занимаются своими делами, никогда об этом не догадаешься. Что вы об этом скажете?

— Что вы об этом скажете? — подхватила Джилл с таким энтузиазмом, что Анна даже

вздрогнула.

Это эхо было ненужным, и Анна подумала, что, несмотря на внешнюю самоуверенность, Джилл, вероятно, борется с застенчивостью. И, подхватив последние слова Ральфа, она как будто желала объявить, что и она там была, что она не пустое место.

Несколько секунд они молчали — Ральф дал им возможность высказаться, но никто не заговорил, и он продолжал:

— Не представляю себе, чтобы британские граждане хладнокровно терпели такое запугивание, — просто не представляю! Как вы думаете, — обратился он к Анне, видимо, полагая, что она специалист в этом вопросе, — можно ли так привыкнуть к угнетению, чтобы уже не ощущать его как угнетение? Или вы думаете, что дело в национальном характере? Я имею в виду не биологический характер, не пресловутую британскую флегматичность и не мифическую жестокость островитян, совсем нет — а нечто связанное с культурой страны, с тем, какими видят себя ее граждане.

Он опять сделал паузу, словно ждал возражений или иного отклика, а возможно, желая убедиться, что не оттолкнул слушателей. Он сно-

ва взглянул на Анну — а она взяла бокал, чтобы избежать его испытующего взгляда, и увидела, что бокал пуст. И, прежде чем снова повернуться к Ральфу, перехватила взгляд Джилл, тоже обращенный на него. Глаза ее ничего не выражали, как будто она полностью отстранилась или желала скрыть свое неодобрение, и Анна удивилась тому, как отличался этот взгляд от того прошлого, дружелюбного. Анна сразу отвернулась и вдруг поняла, что эта строгая самодостаточная женщина пугает ее саму, как пугала бы ее мать. Джилл наполнила ее бокал, и, когда Анна повернулась, чтобы поблагодарить, увидела, что ее глаза опять изменили выражение. Сейчас, когда Анна повернулась, они улыбались. Она слегка подняла бокал — безмолвный тост.

— Некоторые народы просто не будут терпеть несправедливость, — продолжал Ральф.

Ей показалось, что Ник одобрительно буркнул, и она подумала, что сейчас услышит хор свободолюбивых.

— Если их станут притеснять, они выйдут на демонстрации, станут совершать поджоги и строить баррикады. Избиения, казни, тюрьма не сломают их упрямого сопротивления тирании. Другие народы покорны и пугливы. Иные даже не

воспринимают угнетение как несправедливость — для них это естественный порядок вещей. Что-то есть в их культуре такое, что они стали покорными. Религия? Историческая привычка к злоупотреблениям властей?

У них за каждым обедом так? Она подумала, что Ник сейчас заговорит, может быть, даже почувствует неловкость, но он, казалось, сосредоточился на еде и только поглядывал на отца, набив рот. Джилл тоже совсем успокоилась и ждала продолжения. Впоследствии, узнав Ральфа ближе, Анна заметила, что он любит сравнивать национальные характеры и за этим стоит желание провозгласить, что британский с его твердостью и порядочностью заслуживает всяческого восхищения. Он не просто любил такие сравнения — это было навязчивой идеей, его способом понимать мир. Он сравнивал спокойно, без энтузиазма, а так, как будто это было объективное наблюдение, констатация истины. Ее удивляло, что Ральф не замечает шершавой изнанки своих сопоставлений, самодовольного взгляда на шаткость всех прочих наций. В этот первый вечер она подумала, что Ральф так разговорился от неловкости, что ему не нравится ее присутствие, но из вежливости он пытается это скрыть.

После короткой паузы Ральф заговорил о том, как служил полицейским в Северной Нигерии, исполнял имперский долг, пока Нигерия не обрела независимость, и тогда уехал на родину зарабатывать деньги.

— Знаете, когда читаешь Оруэлла, его эссе «Убийство слона», работа полицейского представляется достойным занятием. Любопытно, да? Ведь на самом деле он хочет показать недостойность нашей имперской системы. А вы любите Оруэлла? — утомленно обратился он к Анне. — Ник сказал, что вы изучали литературу. Нынче полагается читать Оруэлла?

Анну вовлекали в беседу; демонстративная внимательность Ральфа помогала ей успокоиться, а его начитанность и умные замечания даже удивляли. Судя по всему, он основательно читал Оруэлла, Форстера, Конрада, Киплинга и в разговоре свободно переходил от одного к другому, проводя сравнения, спрашивая мнение Анны. Это было похоже на семинар, мягко руководимый Ральфом, — Анна была поглощена целиком. Разрушила волшебство Джилл, отправившись мыть посуду. Вскоре и Анна очутилась на кухне; помогая хозяйке, она рассказывала о своей школе, об учениках, о том, как ей нравится работа.

Это была ее первая встреча с родителями Ника: Ральфом, непоколебимым в своем самодовольстве, и Джилл, сперва любезной, а потом замкнутой и неуверенной в себе. Анне было неуютно при первом знакомстве, и от этого чувства она так и не смогла вполне избавиться. Нику она об этом не говорила, боясь показаться занудой, но сомневалась, что понравилась им.

Когда у Аббаса случился второй удар, Мариам было сорок восемь лет. Его отпустили из больницы, и она уволилась. Особого выбора не было: либо так, либо нанять сиделку, а она знала, как ему это будет противно. Да и отказывалась она не от должности члена правления Банка Англии. Теперь надо было считать деньги — прежде она о них почти не думала. Все заботы лежали на нем. Ей предстояло узнать о пособии и как получить доступ к его пенсии — как управляться без его помощи. Научиться уходу за ним. Не сразу удалось ей сориентироваться в новых обязанностях, усвоить их, она старалась по мере сил не испытывать возмущения и брезгливости. Аббас не мог говорить и смеяться, самостоятельно есть и оправляться. С последним ей приходилось тяжелее всего, как бы она себя ни уговаривала. Ничего не могла с собой поделать. И от него не

могла скрыть, как ни старалась. Он закрывал глаза, когда она его подтирала; иногда из-под сомкнутых век выползала слеза. После первых недель лечения она подумала, что пора ей встряхнуться и найти себе занятие. Она побывала в парикмахерской, закрасила седину и, когда у Аббаса были сеансы терапии, раз в неделю ходила в спортзал. Она сразу подружилась с тренером — молодой худенькой блондинкой в больших очках, говорившей торопливо и как-то странно, словно пыталась изобразить себя кем-то другим. Мариам нравился ее дружелюбно-командирский тон — так ей легче было скрывать свою неискушенность в спортивных делах. И нравились неумеренные похвалы и радостные восклицания, когда Мариам удавалось новое простенькое упражнение.

Однажды она прочла в местной бесплатной газете о Центре для беженцев в Норидже — среди прочего там предоставлялись беженцам и претендующим на политическое убежище информация и юридическая консультация. Им помогали отыскать свои семьи и родственников и освоиться на новом месте. В большой статье рассказывалось о реальных людях, о том, что выпало на их долю, о том, где они теперь. Для нее такая работа имела

особенный смысл — из-за Аббаса и загадки ее собственного происхождения и из-за Джамала, работающего как раз над этой темой. Она поняла, что некоторые сотрудники здесь — волонтеры, и подумала, что такая работа по ней. Как будто она включится в семейное предприятие. В день, когда у Аббаса был сеанс физиотерапии, Мариам отправилась в Центр и предложила свои услуги. Аббасу это, наверное, не понравилось бы. Если бы мог говорить, сказал бы, должно быть, что она собралась донимать людей, которым еще надо разобраться со своей жизнью, что будет лезть с вопросами, на которые никто не хочет отвечать, давать советы, от которых никакого толку. И сама она плохо представляла себе, как сумеет урвать время от ухода за ним. Тем не менее в четверг она отправилась в Центр и предложила свои услуги: «Чем я могу вам помочь?»

В Центр помощи беженцам Мариам явилась нарядная и спокойная — хотя внутри была напряжена, ожидая, что ей откажут, что она не нужна, лишняя. Но ее приняли, и она помчалась в медицинский центр забирать Аббаса и думала по дороге, как это удастся совместить. По дороге домой она не удержалась и рассказала Аббасу о своем намерении. Она взглянула на него

— услышал ли — и увидела на его лице тугую, чуть брезжащую улыбку. Тень улыбки, но всё же улыбку, первую после удара.

— Аббас, ты улыбаешься, — тихо сказала она и сама улыбнулась. — Улыбайся. Пора уже, мистер Бутс. Так думаешь, Центр для беженцев — правильная мысль?

Вечером она позвонила Джамалу (не дозвонившись до Ханны) и первым делом рассказала об улыбке. Еле-еле заметная — но улыбка, не ошибиться. Потом рассказала о Центре для беженцев.

— Что ты будешь там делать? — спросил он.

— Я по-всякому могу помогать. В яслях, с уроками грамотности, с общественными мероприятиями в Центре. — Ей хотелось обрадовать Джамала, но по его голосу почувствовала, что у него есть сомнения. — Папа из-за этого улыбнулся — значит, думает, что это правильно. А тебе как кажется — хороший план?

— Если тебе захотелось… Ну, если хочешь заняться такой работой… может оказаться будничной, скучной. Уборка, заваривание чая, мытье — примерно то, чем занималась в больнице и дома.

— Значит, думаешь, плохая затея? — огорчи-

лась она.

— Да нет, хорошая, конечно, — ответил Джамал. — Особенно если наш больной улыбнулся. И тебе полезно чем-то отвлечься от ухода за ним, заняться чем-то, что тебе по душе. Боюсь только, тебе не предложат ничего интересного. Новая поденщина, и только.

— Нет-нет, не думаю. Думаю, будет много разных занятий, — сказала Мариам, постаравшись, чтобы он расслышал улыбку в ее голосе.

На другой день тех пасхальных выходных Ник взял машину матери и вывез Анну на природу. Спали они в разных комнатах; Анна не ожидала такой роскоши — спальня была просторной, с собственной ванной. Когда она закрыла дверь спальни, ковер, шторы, обои и мебель поглотили все звуки, и казалось, что комната существует отдельно от остального дома. Как будто ее заключили в капсулу, плывущую в пространстве. Утром она раздвинула шторы и увидела большой сад, богатый и опрятный, как будто за ним ухаживала целая бригада садовников. Строение, которое она видела вчера в сумерках, оказалось увитой виноградом перголой. Ник хотел показать ей ближнюю деревню и, пока они гуляли, рассказывал о старинной церкви и о том, какую

роль она играла в Гражданской войне. Рассказывал так, как будто сам присутствовал при тех событиях, наблюдал за ними, стоя на соседней дороге. В деревне не встретили ни души, пока не дошли до гончарни. Гончар улыбался им, не прекращая работы на круге. Ник шепотом объяснил, что гончарня эта знаменита, люди приезжают сюда за посудой из дальних мест. Деревня была небольшая, и вскоре они очутились на проселке, среди нарциссов, еще цветущих под сенью могучих деревьев.

— Твоя мама не очень разговорчива, — сказала Анна.

— Хочешь сказать, что отец красноречив? — Ник рассмеялся. — Когда он в ударе, спокоен и доволен обществом, остальным много говорить не приходится. Должен тебе сказать: вчера он был в отличном настроении. Это значит, ты ему понравилась. Ты к нему привыкнешь, у тебя нет выхода. — Он снова рассмеялся. — Я слышал, как вы с мамой болтали в кухне, — похоже, всё складывается удачно.

Чуть позже Ник сказал, что им пора возвращаться — он хочет успеть на пасхальную службу. Анна сказала, что тоже хочет пойти. Она не обязана, сказал Ник. Он идет потому, что не может

нарушить многолетний порядок. Викарий их церкви — папин брат, дядя Дигби, и, сколько он помнит себя, родители твердили, что пасхальная служба — самая важная в христианском календаре. И ты не имеешь права называть себя христианином, если не посещаешь эту службу, не возрадовался Воскресению Спасителя, — хотя сами не слишком утруждали себя посещением церкви в другие дни. Кроме того, служба и семейный обед после стали у них приятной семейной традицией.

— Я пойду, — сказала Анна. — Хочу.

Ей хотелось почувствовать, что она принята в теплое лоно семьи, и насладиться этим чувством. Она не хотела оставаться в стороне.

Она сказала ему, что хочет пойти на пасхальную службу — никогда на ней не бывала, да и вообще никогда не бывала на церковной службе.

— Неужели?

Ей было приятно его изумление. Но это правда: ни на службе, ни на крещении, ни на венчании — вообще никогда. Такое она видела только в фильмах и по телевизору. О христианстве она знала только теоретически, большей частью из прочитанного, когда училась на филологическом факультете, да по обрывкам случайно

услышанного.

Ник сказал, что в его родословной полно викариев и проповедников из мирян. А услышать такое от Анны — всё равно что встретить человека, никогда не видевшего луны.

И об этом позаботился ее папа: чтобы дети были в полном неведении относительно церкви. Когда Анна пошла в школу, некоторые родители-мусульмане начали кампанию за то, чтобы их детей не привлекали к христианским мероприятиям. Эти родители были сотрудники и аспиранты университета в Норидже — немногочисленные, но кампанию вели умело. Школа принадлежала к англиканской церкви, но Анна и брат учились в ней не из-за этого. Просто она находилась недалеко от дома и имела хорошую репутацию. Когда родители-мусульмане начали свою кампанию, директор школы счел, что тут дело принципа, а именно что ученики его школы должны участвовать во всех мероприятиях, а иначе будет затронута честь мундира. Кроме того, он не желал, чтобы на порядок в школе покушалась горстка людей, не ценящих столь важный для него дух школы. Но родители организовали петиции, угрожали жалобами, и в конце концов директор разрешил детям родителей-мусульман

не принимать участия в некоторых мероприятиях. Он предпочел бы, чтобы этих детей забрали из школы, но в местном совете его попросили не доводить дело до публичного скандала. И поскольку ее имя было Ханна Аббас и в ее документах говорилось, что она мусульманка, родителям было разрешено освободить ее от этих мероприятий, и они разрешением воспользовались. Ханна была освобождена от всех христианских мероприятий, а потом, когда пришла его очередь, — и ее брат Джамал. Учителя не стремились облегчить жизнь мусульманским детям: когда в зале играли пьесу о Рождестве или устраивали праздник урожая, этих ребят собирали в одном классе. Они были бельмом на глазу, и школа давала им это понять.

Мусульманином был ее отец, хотя ни в его занятиях, ни в их образе жизни ничего особенно мусульманского не было. Иногда он им объяснял, что значит быть мусульманином, рассказывал о Столпах Ислама, о единобожии, о молитве, постах, милостыне, о паломничестве в Мекку, хотя сам ни к чему этому отношения не имел. Он рассказывал им о жизни Мухаммеда, о мусульманских завоеваниях почти всего известного мира — от Китая до ворот Вены — и об исламской учености и воспитании. Рассказывал об этом так,

как будто это были истории о великих приключениях, когда люди были гигантами и, собирая хворост в лесу, можно было наткнуться на сундук с сокровищами, изумрудами и бриллиантами. Мать их Мариам знала о религии только то, что могла услышать краем уха, — ноша этих знаний была легчайшая. Она, наверное, и не подумала бы изолировать детей от чего бы то ни было, но их отец смотрел на это как на короткую отсрочку в моральном разложении детей и настаивал на их освобождении от христианских мероприятий. Родители, которые вели эту кампанию — без его участия, — внимательно наблюдали за школой, и он не хотел, чтобы думали, будто он к этому равнодушен. В скором времени Ханна и Джамал привыкли к тому, что освобождены от христианских дел, и в заступнике уже не нуждались — знали, что от них этого ждут. Что отец так хочет. Вот как, выросши в Англии, она ни разу не была в церкви. Если бы их отец был правоверным мусульманином, он совершил бы тяжкий грех, держа их в неведении относительно их религии, но он держал их в неведении относительно вообще всего. Пытался, во всяком случае. Он о многом должен был бы им рассказать — о многом и много больше.

Когда Анна сказала об этом Нику, он промолчал, но лицо его выражало сильную неприязнь, и она решила, что неприязнь эта — к ее отцу. Она пожалела о сказанном, хотя всё это было правдой. Печально, что в ее описании он выглядел узколобым иммигрантом — но так он себя вел, и она поборола желание сказать что-либо в его защиту.

Служба Анну удивила. Показалась ей фальшью. Она надеялась, что ее растрогает драма воскресения, что она проникнется утверждением веры, ощутит торжественность происходящего, но слова дяди Дигби казались преувеличением, а в подаче их слышались заученное благочестие и самодовольный тон. Несмотря на церковное облачение и набожную речь дяди Дигби, Анна даже усомнилась в том, что он верующий. Она подумала, что у верующего должен быть особый взгляд — горячий, страстный, истовый, хотя бы добрый, — но даже издали было видно, что он пустой, раздраженно-озабоченный. Она подумала, что дядя Дигби — не лучший образец своей профессии.

Обедать сели уже около трех. Анна сидела между Ником и Энтони, другом Лоры, сестры Ника; он жевал и помалкивал. Лора, с которой они встре-

тились в церкви, и Энтони, просидевший всю службу в пабе, приветствовали ее пристальным оценивающим взглядом, видимо, собираясь чуть позже вынести свой приговор. У нее пробежал холодок по спине. Оба они работали в архитектурном бюро, где Энтони был старшим партнером. Энтони говорил резко, раздраженным голосом человека, готового выйти из себя, если что-то будет ему не по вкусу.

Дядя Дигби, викарий, с проседью в густых темных волосах, при ближайшем рассмотрении оказался человеком мягким. Он уже не выглядел раздраженным и несколько расслабился. Поначалу беседой заправляли дядя Дигби и Ральф, но вскоре верх взял дядя Дигби, тем более что его жена Флоренс отвлекла Ральфа какой-то длинной историей, рассказываемой вполголоса. Дядя Дигби с церемонной любезностью попросил молодых рассказать о своих занятиях, выразил восхищение и сообщил, что на днях услышал кое-что интересное об этом по радио. В ожидании обеда он часто подливал себе в бокал. Анна перехватила взгляд Джилл, с повлажневшим лицом торопливо накрывавшей стол: Джилл проказливо улыбнулась, словно происходило что-то немного комическое, и она догадывалась, что в

скором времени дядя Дигби сморозит какую-то глупость. И дядя Дигби, сидевший напротив Анны, вдруг обратился к ней с нарочито милостивой улыбкой и спросил:

— А вы, собственно, из какой страны?

— Анна британка, — кратко отозвался за нее Ник, а Энтони хихикнул.

— Да, разумеется, британка, — сказал дядя Дигби, — а до того, как стала британкой?

Все посмотрели на нее, ожидая ответа о ее подлинной национальности. Ей хотелось немедленно встать, уйти прямиком на вокзал и ехать куда-то, где ее настоящая родина. Она пожалела, что ей не хватает задора, чтобы очаровать людей, которые ей не нравятся.

— Ваши родители откуда родом? — продолжал дядя Дигби, по-прежнему любезно, но уже без такой широкой улыбки — вероятно, сочтя подозрительным молчание Анны.

— Отец у меня из Восточной Африки, — ответила Анна, ненавидя и елейного лицемера, и себя за то, что позволила вытягивать из себя сведения, в которых сама не уверена. Она чуть не сказала «кажется», но удержалась. Выяснилось, что дядя Дигби несколько лет жил в Кении, там родился Энтони, и все оживились, обрадовавшись этому

повороту беседы. Энтони вдруг разговорился и сказал, что у них был домик на южном побережье. У него есть старое фото этого домика.

— По вашему виду я бы сказал, что ваш отец был с побережья, — определил ее происхождение дядя Дигби.

— Мы уехали оттуда, когда я был маленьким. Но я его как сейчас вижу, — сказал Энтони, с теплом вспоминая детские впечатления. Бритая голова его блестела.

— Из каких он мест на побережье? — спросил дядя Дигби, слегка повысив голос, чтобы отодвинуть Энтони от разговора.

Она заметила, что темп и направление беседы вызвали у всех улыбку в предвкушении коротенькой новеллы из жизни в далекой, но не то чтобы совсем неизвестной стране.

— Я не знаю, — сказала Анна.

После озадаченной паузы дядя Дигби произнес:

— Вы не знаете, откуда происходит ваш отец? В это трудно поверить.

— Не знаю, — повторила Анна, не найдясь, что еще сказать.

— Я поражен. Вы хотите сказать, что не знаете или что не желаете знать? Мне грустно слы-

шать, что вы питаете так мало интереса к своей родине, — сказал дядя Дигби, глядя в стол и печально поджав губы.

— Я британка, — сказала Анна и сама услышала, что голос ее прозвучал напряженно.

— Перестань приставать к ней, Дигби, — сказала Джилл.

Дядя Дигби отмахнулся:

— Мы наблюдаем, как распадаются семьи из-за того, что дети не желают знать о своих корнях. Чтобы общество сохранило цельность, хозяин и гость должны узнать друг друга, но мы не можем узнать другого, если не знаем себя. Мы заботимся о благополучии иммигрантов, не жалея усилий, чтобы донести до них эту мысль, это понимание. Эти слова «Я британец» иногда звучат для меня как холодный, трагический трубный глас.

— Успокойся, дядя Дигби, — с улыбкой сказал Энтони. — Ты доведешь нашу дикарочку до слез.

Анна поглядела на его улыбающееся толстокожее лицо с удивлением, увидела насмешку в его глазах. Она не знала, что сказать, боялась выпалить что-то жалкое. У нее защипало глаза.

— Не обращайте внимания, — сказал он с улыбкой, подавшись вперед и тронув ее за руку. — Дигби ничего не хотел этим сказать. Для

него это всего лишь слова. Он становится святошей, когда выпьет.

— Анна, не могли бы вы помочь мне на кухне? — Джилл встала из-за стола.

Анна тоже поднялась и пошла следом, но не к кухне, а в ванную. Несколько секунд она смотрела на себя в зеркало, пока не перестало щипать глаза. Выйдя, она увидела, что Джилл дожидается ее в дверях кухни. Она кивнула Анне, и они вернулись к столу.

Она перестала распаковывать сумку и застыла, думая о том, что тогда, в воскресенье, была несправедлива к отцу в разговоре с Ником. Как она могла так говорить? Она понимала, что жизнь их ему нелегко дается, что не всё в ней ему по вкусу. Иногда он сердился, говоря о невежестве людей в их окружении, о том, что они упрямо мирятся с несправедливостями, творившимися и творящимися от их имени. Он рассказывал о делах на работе, о злоупотреблениях, которые вынужден терпеть, но он был твердым, терпеливым человеком и как-то умудрялся сохранять равновесие и продвигаться по работе. В любви своей он был неуклюж, но постоянен. И даже не был трагическим персонажем, каким предстал в ее рассказе. Должна была помнить об этом, а

не говорить о нем пренебрежительно. Может быть, хотела показать Нику, что она не такая, как они, что она не из этих иммигрантов? Иногда она думала, что понимает, как тяжело дается жизнь ее отцу, все еще чужому здесь после стольких лет, всю жизнь ощущавшему свою чуждость, — он был намного старше матери и не мог разделить воодушевления детей, а они — разделить его радости. Она застыла на минуту, думая о нем и мысленно прося прощения.

Она села за компьютер и напечатала: «Я британка». Подождала, когда смолкнет «холодный, трагический трубный призыв» дяди Дигби. Собака в штанах[1].

Вечерами по средам Джамал допоздна оставался в университете — он посещал Группу исламских чтений. По дороге домой он заходил в угловой магазин купить молока. Магазинчик был плохо освещен, забит полками. Из людей там был только хозяин — не пакистанец, как ни странно, а англичанин с европейскими корнями. Он что-то читал за прилавком. Рядом с ним на прилавке стоял британский флажок, а еще один — на доске объявлений. Когда Джамал вошел, хозяин повер-

---

[1] Примечания: 1
Джозеф Конрад. Сердце тьмы.

нул торс и со значением посмотрел на настенные часы. Было без нескольких минут восемь, а в восемь он обычно закрывал. Всякий раз, заходя в магазин и встречая враждебный взгляд хозяина, Джамал иронически напоминал себе, что каждый день таит опасность. Но всё равно приходил: другой ближайший магазин был далековато, а он был не против легкой встряски. Однажды с ним зашла Лина из квартиры напротив и была настолько поражена безмолвной злобой хозяина, что зареклась сюда ходить. А он улыбнулся злому хозяину, молча заплатил за молоко и ушел.

Джамал стал посещать исламские чтения вскоре после того, как начал работу над диссертацией, — хотел глубже понять религию, к которой номинально принадлежал. Посещать их его убедил студент, сосед по дому. Отправляясь туда в первый раз, он не знал, чего ожидать: молитв, проповедей, запретов? Боялся, что будут молиться хором и он, невежда, опозорится. Он не знал слов и имел лишь смутное представление о порядке жестов. Отец никогда не молился и ничего им не рассказывал о молитвах. Но когда Джамал пришел в первый раз, молитв не было, никто его не разоблачал и не отчитывал. Несколько человек в группе даже не были мусульманами.

Они слушали доклад о неприемлемости отступничества в исламе. Джамал не понимал даже, что значит отступничество, тем более — почему оно неприемлемо вообще в религии.

Его тогдашний сосед Монзур, писавший дипломную работу по юриспруденции, должно быть, решил, что наставил Джамала на путь к спасению, и убеждал пойти с ним в мечеть на пятничные молитвы. Джамал сказал «может быть», но сначала он хочет узнать чуть больше. Манзур был огорчен, но не отступил.

— Не в познаниях главное, а в признании единства и совершенства Бога. Мы мусульмане. Бог одарил нас этим знанием и обещал нам много чудесного и прекрасного. Он потребовал за это покорности и повиновения. Ты не был послушным, не повиновался. Времени осталось мало. Твои грехи копились годами. Незнание не оправдывает. Приводи свой счет в порядок, иначе тебе будет отказано в благах, обещанных нам Богом. Приходи молиться со мной, и станешь любезен Богу, и Он тебя вознаградит.

— Может быть, — ответил Джамал, но со спасением не торопился. Хотел сперва узнать немного больше.

Спустя недолгое время после первого собрания

произошла катастрофа 11 сентября в Нью-Йорке, за ней — войны, и потребность разобраться в этом сделалась настоятельной. Он и так ходил бы на собрания, но теперь важно было услышать разные мнения о том, что происходит в мире. Слушал неуверенно, как, вероятно, и остальные, — не с тем, чтобы найти решение или научиться противостоять ненависти, обострившейся из-за последних событий, а чтобы понять то немногое, что можно было понять. Группа исламских чтений, несмотря на беспокойство, доставляемое ею университетским властям, была всего-навсего обычным академическим семинаром, дискуссионным клубом. В ту среду вечер был посвящен шиитам-зайдитам Йемена и их доктринальным отличиям от других шиитских сект — исна-ашаритов и исмаилитов.

Первой мыслью Джамала, когда он еще не знал о жертвах, было: «Только бы не палестинцы!» Сперва это были обманчиво знакомые кадры с мирно летящим самолетом над Нью-Йорком, но потом он врезался в одну из двух парных башен, и вспыхнуло пламя. Потом показался другой самолет и неторопливо — так казалось — врезался во вторую башню. Он подумал: только бы это были не палестинцы, потому что, если это

они, то потеряют всё и гнев Америки обратится на них. Потом он подумал: только бы в зданиях никого не было. Только бы не мусульмане это сделали. Пусть — обозленные наркобароны или спятившие преступники. Но, конечно, это были мусульмане — и гордились сделанным. И башни были полны людей. В последующие дни пошли новости о бессмысленных смертях, об уцелевших чудом, о людях, выбрасывавшихся из горящих башен, о героических спасениях и о несчастных, ожидающих известий о своих близких. Изображения самолетов, врезающихся в небоскребы, прокручивались раз за разом, и у него было ощущение, что он видел их до того, как это произошло. В каком-то смысле так оно и было: в фильмах-катастрофах эти события репетировались, представали черными пророчествами. Чего они не могли предсказать — каким опасным и хрупким вдруг окажется их мир, как они сами почувствуют теперь угрозу нападения. Прежде он и вообразить не мог, что значит жить под угрозой нападения, как живут тысячи людей в разных частях мира. Да, он думал о несправедливостях, которые им приходится терпеть: в Палестине, в Чечне, в Конго, но даже не пытался представить себе, каково жить в постоянной опасности. Мо-

жет быть, со временем это чувство притупляется, но оно не отпускает, гнетет, и ты доверяешься инстинкту, удаче — раз пронесло, другой, свыкаешься с ужасом. Он осознал, каким безопасным ему представлялся мир, где они жили.

Но эти самолеты, врезавшиеся в небоскребы, расчетливая жестокость террористического акта, неважно, чем мотивированного, всё изменили в его сознании. Он понял, что такие отчаянные акты насилия — это ответ слабых сильным и сама отвратительность их есть часть их воздействия на умы, их непредсказуемость, их огульная разрушительность. Самолеты, врезавшиеся в башни, смерть трех тысяч людей и близость к смерти еще тысяч выпустили на волю гнев и панику, которые приведут к смерти сотен тысяч других людей, к разрушению стран, к массовым арестам, пыткам, убийствам, к новым террористическим актам. Он не знал этого, когда смотрел на экран и слушал сообщения, но знал, что возмездие последует, — ведь затронуто могучее государство, и то, что грядет, будет хуже того, на что он смотрит.

Почему-то он боялся за отца. Он думал о том, как отец волновался из-за убийств в Боснии, как кричал репортерам, а в особенности Дугласу Хёрду, тогда министру иностранных дел: «Вы допустили

бы это, если бы они были не мусульманами? В Европе! В наш век!» Когда на экране появлялся Хёрд, отец слушал несколько секунд успокоительную болтовню *резинового государственного деятеля*, а потом принимался обличать его бездушие и цинизм. «Ты же не веришь ни единому своему слову, лжец! На самом деле ты думаешь: мне всё равно, что будет с этими людьми, потому что они не такие, как мы». Отец не считал боснийцев европейцами, думал, что они темнокожие, *как мы*. Они же мусульмане. Хотя ежевечерне в телевизоре интервьюировали представителей боснийцев-мусульман, и они совсем не были похожи на нас, он не мог или не пытался преодолеть свою двойственность: с одной стороны, требовал, чтобы с ними обращались как с европейцами, а с другой — всё равно считал, что они такие же, как мы, почему и не защищены от кровожадных сербов.

Джамала тревожило, как подействуют на отца картины разрушения башен. Он представлял себе, как его будут раздражать неизбежные умозаключения журналистов относительно мировых проблем, как будет бесить фарисейство политиков, при том что он знал и все они знали, что уже планируется война. Он боялся, что отец

бессердечно выскажется о погибших.

Он слышал, как люди говорили, что Америка сама навлекла на себя беду своим хамством и манипуляциями. Но там мог оказаться и любой из них. Пусть ты считаешь, что американская военщина заносчива и высокомерна, убийцы не пощадили ни правых, ни виноватых. Он видел, как в разных странах люди пляшут от радости. Может быть, они думали, что это просто телевизионный трюк. Может быть, не верили тому, что там говорят. Может быть, думали, что число жертв преувеличено. Может быть, не сочувствовали жертвам, а могли только злорадствовать, что Америке досталось, и не думали о гибели ни в чем не повинных людей.

Он вспомнил о марше за предотвращение войны. По всему миру сотни тысяч людей выходили на демонстрации. Он никогда не участвовал в таких демонстрациях, если не считать шумных сборищ из-за местных студенческих проблем: требований, чтобы лекции были доступны онлайн, протестов против того, чтобы преподаватели в экзаменационное время устраивали забастовки из-за жалованья. Эпоха демонстраций давно прошла, и для него эти события были седой легендой из времен вольницы, буйной музыки, неразбор-

чивого секса, сидячих демонстраций цветных, героического митинга на Гровенер-сквер против войны во Вьетнаме в 1968 году. Этот митинг происходил за восемь лет до его рождения, но Джамал видел фильм о нем, слышал рассказы и удивлялся, как у людей хватало отваги. Может быть, они думали, что ничего страшного за это с ними не сделают. Правда, лидеры этих протестов давно сожгли свои жилеты, постригли волосы и стали директорами школ, членами парламента, министрами, администраторами компаний, но тогда в них был огонь, горластая дерзость.

Ему запомнились антикапиталистические бунты в 1999 году, но выглядело это как организованное сражение, а не демонстрация: обе стороны в форме и масках и до безумия агрессивные. Марш 15 февраля 2003 года был мирным: собрались люди, сомневавшиеся в разумности и оправданности войны с Ираком. Большинство из них бросило бы в дрожь от мысли, что они активисты или вообще занимаются политикой. Большинство из них вовсе не стремились продемонстрировать свой антиобщественный задор или свой радикализм — они возмущались тем, в чем усматривали правительственный обман. Многие вышли на марш впервые — как Анна,

как Ник, как Джамал, они вышли, чтобы сказать «нет», добавить свой слабый голос к тем многим, кто выражал сомнение в необходимости войны. Для Джамала, во всяком случае, это был отчаянный крик протеста против разгула риторики, требовавшей от него молчания, требовавшей от него согласия с жестокими планами людей, в чьей доброй воле он глубоко сомневался. «Согласие» стало ходовым словечком той поры — а он не желал соглашаться. Почему-то они полагали, что, если выйдут на улицы в большом числе, правительство послушает и одумается, но Джамал сомневался, что это может остановить военную машину.

Буш и Блэр, конечно, оставили их без внимания. И тех, кто вышел на улицы, и тех, кто возражал иными способами, — и начали войну. Тогда Джамал задумался: что значит быть гражданином, как миллионы людей слушают то, что им говорят, думают над этим и не соглашаются; как люди по всему свету говорят о своем нежелании, о своем несогласии и возмущении и это ровно ничего не меняет?

Ханна сказала, что он наивен, если ждет какого-то результата от протестов, хотя на самом деле он и не ждал — вышел на демонстрацию без

особой надежды. Он слышал по радио человека, со сдержанной яростью вещавшего:

— В мире есть настоящие террористы, их надо уничтожить или наглухо запереть в их диких странах. Правительство не вправе рисковать. Марш — это прекрасно, но это представление из области фантазий, будто покончить с терроризмом можно проповедями.

Война уже началась тогда, и в Ираке воцарился хаос. По телевизору всё время показывали иракцев, приветствующих американские войска и радостно сносящих статуи тирана; суровые люди, знающие толк в таких делах, объясняли, что иракцы сами желали этой войны. Их армия даже не хотела сражаться. Они желали победы американцев. И смотрите: война окончена, варварский лагерь горит. Первое время будет беспорядок, но потом всё наладится.

Ирония судьбы: началась война, которой отец так боялся, а он пребывал в густом тумане, и эти ужасы едва доходили до его сознания, оккупированного болью.

Среди ночи, иногда наступавшей рано, иногда поздно, в предрассветные часы, когда мир вокруг был нем, он лежал без сна и чувствовал, как разлагается внутри его тело. Он проводил ладонью

по тощей оболочке, пока что скреплявшей всё воедино, и думал, что скоро и она провалится в жидкую гниль нутра.

Это было давно, больше сорока лет назад, а в живом времени еще больше, но в ночной тишине те дни его жизни возвращались к нему с необъяснимой ясностью. Даже там, где легкий туман лежал на событиях прошлого, он чувствовал, ощущал значение того, что пыталась вспомнить память. Память трудилась безжалостно, неотступно, вопреки его желанию забыть. Всё казалось совсем близким, хотя бог весть когда произошло. Те времена он ощущал как стук в груди и чувствовал жаркое дыхание тел, являвшихся ему.

Постепенно возвращались слова, и теперь он жаждал их, хотя вначале был безразличен. Теперь они нужны были, чтобы разговаривать, чтобы он мог рассказать ей о годах своего молчания, чтобы описать ей свою позорную трусость. Временами он путался в том, что она ему рассказывала, в именах, которые она называла. Кто были эти люди? Но о другой своей жизни, от которой ушел, он многое хорошо помнил — как будто даже всё.

Он помнил свои студенческие годы — самое счастливое время. О нем он ей никогда не рассказывал. Это было как новая жизнь — когда он

переехал в город к родственникам Фавзии от тиранической скупости отцовского дома. Может быть, ему стоило остаться, искать счастья там. Может быть, он смог бы делать что-то хорошее, оставшись, а не потратил бы жизнь, застряв там, где ничего не мог сделать полезного для других, и теперь бессилие тела не позволяло отделаться от угрызений. Может быть, надо было остаться и разделить с ними бедствия. Что толку думать об этом, кода он ни на что не годен? Иногда ему казалось, что он всё делал неправильно, а иногда — что не всё. Бывало такое чувство, что пора уже успокоиться. Те годы казались благословенными, что-то он делал, и делал хорошо, а теперь оставалось только держаться в расчете на отсрочку приговора.

А в колледже было хорошо. Он вспоминал, как шел в колледж за неделю до начала занятий, чтобы оплатить обучение, взять свои документы, а после шел по мощенному плиткой коридору и тенистым тропинкам двора, не веря своему счастью — что его сюда пустили. Когда начались занятия, он никого не знал, но инструкции были настолько ясные, что приходилось просто идти со всеми и следовать правилам. Вот это было в новинку — дисциплина прежде всего. Было

много новых правил, но никто не кричал, не грозил палкой, не стоял подбоченясь с грозным видом, словно готовый остановить повальное бегство. Преподаватели были вежливы и терпеливы, и студенты неукоснительно подчинялись правилам и тоже были вежливы. Некоторые преподаватели, может быть, и презирали их невежество, но соблюдали вежливость.

Был спорт. В прежней школе его не было, а в колледже — легкая атлетика, крикет, бадминтон и волейбол; о некоторых играх он даже не слышал. Это были английские игры, и было бы простительно не знать о них, если бы британцы не колонизировали страну. Непростительнее было то, что в своей сельской школе он никогда не слышал об алгебре и геометрии, о физике, о логарифмических таблицах, хотя эти знания создавались целым миром. Даже то, чему учили в школе, здесь преподавали по-другому. Здесь была библиотека, сотни книг, и ты мог брать их домой и читать, если хотел. До сих пор всё его учение происходило словно в комнатушке — тесной, голой, запертой комнатке. Потом кто-то открыл дверь, и он увидел, что эта комнатка — всего лишь крохотный закуток в громадном здании. Тут были широкие коридоры, веранды со всех

сторон, и при желании он мог разгуливать там, вернее, если бы осмелился, потому что невежество его было столь велико, что его всё пугало, и он довольствовался робкими шажками.

Таким теперь вспоминался ему колледж, те первые дни занятий, размеры его невежества, невероятный объем новых знаний. Он поступил туда в шестнадцать лет и пробыл там три года. Это было самое счастливое время его жизни, и он всегда тосковал по этому времени. Завелись друзья, он научился плавать и приезжал в свою комнатушку в доме родственников Фавзии и выполнял задания, которые ему поручали. Поначалу он приезжал в Мфенисини каждую пятницу днем и уезжал в воскресенье вечером. Он хотел облегчить бремя родственникам, содержавшим его, но со временем стал приезжать домой реже. Братья относились к нему как к герою, расспрашивали, чему он научился, хвалили за малейший успех, о котором он рассказывал, а отец смеялся над его студенческой формой. «Поглядите на этого комика, на эту куклу, — говорил он, — глядите, какой важный! Иди читай свои молитвы». После молитв велел переодеться в старое тряпье и задавал грязную работу, чтобы не заносился. «У нас в доме даром никто не ест».

Отман, скупец, грубый, тяжелый человек. Но однажды он видел, как отец рыдает, словно лишившись рассудка. Он никогда не думал, что тот способен так плакать. Они услышали крики на дороге, в другом конце проулка: кричал мужчина, и кричал от страха осёл. Отец побежал выяснять, в чем дело, и он за ним следом. Оба брата работали на другом краю фермы и не сразу услышали крики. Добежав до дороги, Аббас с отцом увидели, как человек бьет обессилевшего осла толстой палкой. Удивленный их появлением, он на минуту остановился. Наверное, кровь так стучала у него в ушах от ярости, что он даже не слышал, как они подбежали по заросшей тропинке. У него была пена в углах рта. Человек замер на несколько секунд и возобновил свою работу, метя в самые больные места: в рот, в брюхо, в ляжку. Отец его, скряга Отман, кричал человеку, просил остановиться и в конце концов упал на колени и своим телом накрыл голову осла, чтобы заслонить ее от ударов. А человек оттащил его в сторону и погрозил палкой. Отец сидел в трех шагах и рыдал, очки его были залиты слезами. В конце концов пришли братья Кассим и Юсуф Kimya, и втроем они утащили отца. Дома он продолжал плакать часами, раскачиваясь, держась

за голову, — они испугались, не лишился ли он рассудка. Может, и лишился на время, но наутро снова был злобным собой — стоял на дворе со своей короткой мотыгой и кричал сыновьям, чтобы шли работать. Братья сходили на дорогу посмотреть, но там ничего не было, только кучка навоза, и ее деловито растаскивали насекомые.

Во второй свой год в колледже он уже не ездил в Мфенисини каждую пятницу и, бывало, оставался в городе. Он ожидал выговоров от отца за то, что отлынивает, и боялся, что братья подумают, будто он старается их забыть. Но почему-то в его приезды отец относился к нему не так злобно, как прежде. А он приезжал всё реже. Атмосфера города, колледж и занятия — всё это делало жизнь интересной и сложной, тогда как их жизнь состояла в однообразном труде прополки и вскапывания. Их пути расходились всё больше. Когда он приезжал домой на каникулы, ему даже разрешалось час-другой посидеть в тени с книжками — только бы не злоупотреблял этой привилегией. В конце второго года он оставался в городе всю неделю. Ничем особенно интересным он не занимался. Ходил в колледж, занимался, прогуливался с друзьями у моря, мог сходить на футбольный матч. По пятницам молился в мече-

ти в Фородхани, иногда его приглашали на обед в дом кого-нибудь из друзей-студентов. Бывал на митингах — политика заметно оживлялась.

И однажды вечером увидел ее. Нет, он и раньше ее видел, но в этот вечер по-настоящему. Молодая женщина, она жила в доме, соседнем с домом его родственников. Он увидел ее из окна, она показалась привлекательной. Он просто смотрел: дочь из богатой семьи в доме по соседству. Отец держал магазин электротоваров и место в мясном ряду на рынке. Один сын работал в магазине, другой на рынке, люди обеспеченные, у обоих сыновей по машине. На улице эту молодую женщину он не мог увидеть: она всегда ходила в парандже. Он мог только догадываться, что это она, — она выходила из их дома. А по террасе она прогуливалась с открытым лицом, не зная, что на нее смотрят.

Это было начало третьего года в колледже, и в его жизни, наполненной спокойным содержанием, не было места женщинам и девушкам. Он слушал рассказы ребят об их приключениях и романах, но не думал, что такие переживания выпадут и ему. Он любил смотреть на красивых женщин, встречавшихся на улице. Не все они закрывались так, как соседка, — некоторые так

умели носить паранджу, чтобы не прятать под ней ничего существенного. После он фантазировал и виновато грешил в одиночку. Он не знал, как ему пойти дальше этого, не думал даже, когда в первый раз увидел ее по-настоящему. Подумал, что она красивая — и только. Стал поджидать ее появлений на террасе. Это не преступление. Просто поглядеть, ни о чем другом не думая, не интересуясь, просто полюбоваться на нее.

Он наблюдал за ней из своего окошка. Родственники мужа сестры жили на третьем этаже узкого дома. У них было две комнаты, а у него кладовка, крохотная конура, куда он еле вмещался. Не было ни ставень, ни стекла в окне — просто отверстие в стене шириной сантиметров в двадцать пять и высотой в шестьдесят. На рассвете в него задувал холодный ветерок, а когда шел дождь, на ноги ему падали брызги. Когда дождь был сильный, он скатывал свой тонкий тюфячок и переносил книги на изголовье кровати. За макушками деревьев, складами и верфями виднелись клочки моря, а он глядел сверху на террасу соседнего дома с кустиками в горшках и веревками для сушки белья.

Иногда он думал о том, как складно поместился в эту комнатку, но в ней бывало душно. Когда

поднимал голову от книги, смотреть было некуда, только в окошко. Он был счастлив в своей комнатке, но иногда им овладевала тревога, он чувствовал себя недостойным во многих отношениях. Ему восемнадцать лет. Беден, учится на благотворительных началах. Застенчив. Лишен уверенности. Так он думал о себе. Умений никаких, только прилежание в учебе. Но он помнил, что это было счастливое время в той комнатке. Последний год в колледже, который был для него целым новым миром. Он хорошо учился, скоро ему предложат работу учителя, и дальше — достойная жизнь до конца дней.

Родственники, у которых он жил, были бедны; в доме не было электричества и водопровода. Воду носили из уличного крана ведрами, втаскивали на третий этаж и выливали в бак на кухне. Туалет был один на весь дом, на первом этаже — темная жутковатая комнатка, которую он посещал только при крайней нужде. Питались скромно, но родственники были добрыми. А он — вежливым и благодарным, и благодарность его была им приятна. С ним обходились как с родным сыном, посылали за водой, выговаривали за то, что долго спит, или занимается чересчур усердно, или пропустил молитву за соседа в мечети.

Он наблюдал из окна за девушкой потому, что она была рядом. В тот вечер, когда он сидел перед окошком, смотрел в темноту и уже собирался спать, она вышла на террасу со свечой. Она поставила свечу и одним движением сняла платье. Несколько секунд она стояла голая при свете свечи, потом стянула с веревки материю и завернулась в нее. Она не могла знать, что за ней наблюдают, — лампу у себя он не зажигал. Больше она так не раздевалась, но после того раза ее образ закрепился у него в памяти. Даже после стольких лет он мысленно видел ее, видел то неожиданное движение, когда она, заведя руки за плечи, стянула с себя платье и при свете свечи обнажила стройное тело. Ему в своей комнатке не на что было сесть, кроме кровати, как раз перед окошком. Специально подсматривать за ней, когда она появлялась, не было нужды. Наверное, он влюбился в ее образ, но ни о чем большем, чем смотреть на нее, не мечтал. Откуда бы набраться на это смелости?

Однажды она увидела, что он наблюдает за ней, но, кажется, ее это не смутило. После этого он часто сидел у окошка с книгой и смотрел на нее, пока она занималась домашними делами или, прислонясь к стене, смотрела на море. Он

наблюдал, как она развешивает стирку, или выбирает камешки из риса, или под вечер поливает растения в горшках, или просто сидит в сумерках. Иногда вечерами, лежа на кровати под окном, он слышал голоса на террасе и думал, что семья прохлаждается на ветерке после знойного дня. Безобидный легкий флирт, говорил он себе, молодые строят глазки друг другу с безопасного расстояния. Но однажды отец застал их за этой невинной забавой. Он вышел в сумерках, увидел сидевшую на циновке дочь, обернулся — а там Аббас в окошке, с горящей лампой. Аббас не думал, что последует что-то серьезное. Торговец был человек состоятельный, а он просто мальчишка, сосед, живет у нищих родственников и поглядывает на его дочку. Первое время, завидев отца, он переходил на другую сторону улицы, но думал, что, если не будет мозолить ему глаза, это происшествие скоро забудется. Да и смотрел он, может быть, просто в окно, а не на его дочь. Если она оказалась на террасе, когда он смотрел в окно, что из этого? Но получилось не так.

Тетка девушки жила с ними, жила много лет, со смерти ее матери. Отец девушки рассказал тетке о том, что видел, и она подняла тревогу. Сказала, что девушка сидела там неодетая и, заметив

парня, должна была сразу убежать в дом. Но дела уже не исправишь. Тетка знала жизнь, знала, как будет меняться эта история, переходя из уст в уста, и приобретет совсем другой вид, особенно если затронута репутация молодой девицы. Она пошла к сестре Аббаса Фавзии — знакомой по свадьбам и похоронам, которые они исправно посещали.

Однажды Фавзия пришла и сказала Аббасу, что его вызывают домой, в Мфенисини. Она не объяснила, в чем дело, и, когда приехали, оказалось, что никто их не вызывал, что это ее затея. Она созвала всех: отца, мать, обоих его братьев; собрались напуганные, ожидая, что объявит о какой-то трагедии, о ее разводе с мужем, или что его посадили в тюрьму за контрабанду или воровство на службе, в Департаменте общественных работ. Она сказала им, что Аббас обесчестил дочь соседа, богатого торговца. Аббас был испуган этим объявлением, сердце екнуло, словно он оступился, стоя на высокой стене. «Что за чепуха?» — сказал он, но Фавзия оставила его слова без внимания и продолжала в подробностях о возмущении торговца, о том, что ее вызвали и потребовали довести это до сведения семьи. Аббас не понимал, что она устроила и что всё это значит. Отец сильно

кричал, чем занимался с удовольствием всякий раз, когда подворачивался случай. Но сейчас дело шло еще и о бесчестии.

— Я знал, что этим и кончится! — кричал он. — Я знал! Я всегда знал! Эти европейские учителя с их школой голову тебе вскружили! Из-за книжек своих возомнил, что можешь трахать дочку богатого человека. Теперь тебя будут лупить на улице, как собаку, ты не знаешь этих йеменских купцов! Так и бывает с парнем, когда он зарвался. Кто-то ему башку поставит на место. Вот так вот, — сказал он и сильно хлопнул его по затылку, потом еще раз, чтобы донести свою мысль.

Мать рыдала, отец бесновался, а сестра обрывала его, когда он пытался заговорить. Она сказала, что единственный достойный выход — предложить жениться, и сегодня же она поедет в город и предложит это от имени семьи. И пусть не пробуют ее остановить — она не сможет смотреть людям в глаза, если семья не поведет себя достойно. Отец и братья посмотрели на Аббаса с кривой улыбкой, а мать перестала всхлипывать. Ожидали, что Аббаса будут травить и бить, — у торговца важные друзья, какая там женитьба. Но прошло дня два, и Аббас сам стал потихоньку улыбаться, хотя сперва не на шутку перетрусил.

Он был не против жениться. Возраст по тамошним понятиям достаточный, скоро он устроится на работу, а девушка, он видел, красивая, и семья богатая. Две недели радостного ожидания, пока готовили свадьбу, и он переехал в дом ее родителей. Фавзия была очень довольна своей работой и несколько раз говорила Аббасу, что он должен быть благодарен ей — спасла ему жизнь.

В предрассветные часы он лежал униженный, с отказавшим телом, дрожа от слабости, и мучился, вспоминая молодую женщину, на которой женился в восемнадцать лет. Им владела ненависть, отвращение к себе. Первые недели были чудесными. Его жена Шарифа была так же красива, как в первый раз, когда он увидел ее при свете свечи. Он понятия не имел о том, сколько наслаждений может подарить тело и как легко освободиться от страхов и запретов в том, что позволено делать мужу. После свадьбы он перебрался в дом ее семьи, потому что в его чулане едва хватало места для одного. Он поселился с ее отцом, теткой, двумя старшими братьями, их женами и детьми в большой двухэтажной квартире над магазинами. Им отвели комнату на втором этаже рядом с теткиной, с кухней, туалетом и террасой, где он впервые увидел Шарифу. Остальные жили

на нижнем этаже — отец в большой комнате, выходившей на улицу, и братья с семьями в двух комнатах с тыльной стороны. На этом этаже была еще гостиная, где женщины принимали посетителей. Иногда вечерами он стоял на террасе и смотрел на свое окошко — не мелькнет ли он там прежний, за своими раздумьями.

Нет, он был счастлив. Не верилось, что ему выпала такая удача. Никогда не было у него такого простора и возможности уединиться. Их собственная комната с множеством мелких удобств, доставшихся ему впервые в жизни. У них были пружинная кровать, радио и ковер на полу. По возможности он проводил в этой комнате всё время. Когда молодая жена была свободна от домашних дел, они разговаривали там. Он готовился к выпускным экзаменам, уже совсем близким. Слушал маленький приемник, подаренный тестем, из его же магазина. Сюда он как бы уходил от мира. На завтрак ели яйца и сладкие булочки маандази. Мясо и рыбу ели каждый день, все вместе, кроме ее отца, обычно под вечер, под тентом перед кухней, теснясь на коврике, который раскатывали перед каждой едой, а потом скатывали. Отец ел у себя в комнате — ему приносили на подносе. По пятницам у

них был пилав с бараниной. Это была жизнь в роскоши, слава Аллаху. От него требовалось только заниматься своими науками, есть досыта и ждать, когда жена разделается со своей работой.

Эта их с Шарифой комната была словно тенью под пышным деревом, прохладным вечерним бризом. Такое счастье бывает в сказках, думал он, только здесь оно не выдуманное. Скромного, трудолюбивого, преданного юношу фортуна осыпает дарами, он строит дом с садом для любимой и долготерпеливых родителей. Он не разбил сада, совсем не хотел жить с родителями, но у него была любимая. Да, было бы такое блаженство, только не случается такого в реальной жизни, и у всякого блага в изнанке прячется ядовитый шип. Привыкнув к радостям новой жизни, он уже не мог не почувствовать, как неуважительно обходится с ним семья. А потом стал замечать, что и Шарифа тоже — во всяком случае, при них. И с каждым днем делалось всё хуже.

Он возился на своем одре, силился отогнать назойливый призрак. «Не желаю изводить себя, вспоминая всё это, этих высокомерных фараончиков. Какое мне дело до них!»

Братья жены вечно поддразнивали его, посмеивались снисходительно как над наивным

юнцом, бестолково бредущим по жизни. У них была так себе репутация. Каждый вечер на своих машинах они заезжали в укромные места и ждали женщин, искавших их общества. Оба были женаты. Жёны их были из Адена и пыль Йемена предпочитали пыли этого черного островка с его тарабарщиной, на которой они даже брезговали правильно говорить. Раз в год или два они уезжали с детьми в Аден и гостили там месяцами. Если и задумывались о том, как развлекаются мужья в их отсутствие, ни с кем этими мыслями не делились, и он полагал, что даже Шарифе неизвестно о репутации братьев в городе. Да и братьям вряд ли было важно, знает она или нет и происходит это при женах или в их отсутствие. Их развлечениям на стороне всё это никак не мешало.

Когда братья смеялись над ним, он тоже смеялся: раз всем смешно, то и ему тоже — не хотел показывать обиду, да и смех мог быть добродушным. Они были гостеприимны, относились к нему тепло, притом он был намного моложе их. Они смеялись над его молодостью, простодушием, он велел себе не обижаться и всё же в их присутствии неизменно чувствовал себя глупым. Когда он входил в комнату, их жёны покрывали голову, разговаривали на зашифрованном языке

собственного изобретения (они были сестрами), но он не сомневался, что они смеются над ним. Отец Шарифы давал ему деньги при всех, словно служащему, прислуге. Давал не регулярно, а от случая к случаю. Иногда монетами, иногда бумажками. Как милостыню. Если тетке показалось, что он сделал что-то не так, она отчитывала его, как ребенка, рявкала, повышала голос, так что весь дом слышал и даже жена над ним смеялась. Он боялся, что и на улице люди слышат теткины крики. Иногда он думал, что она ненормальная, — настолько бурными были вспышки и несоразмерными его проступку. Он чувствовал себя униженным, как ни уговаривал себя.

Они к нему привыкнут, говорил он себе, — особенно когда поймут, что он заслуживает их уважения. Но они пугали его, и ему казалось, что они знают это. Он терпеть их не мог. Он стал задумываться, почему с ним обращаются так неуважительно. Как задумался об этом, так и не мог уже отделаться от этих мыслей. Он думал, что они смеются над ним издевательски, смеются над его отцом и братьями, которые вели себя на свадьбе как голодные нахлебники. Думал, насмехаются над его бедностью и над их деревенскими манерами.

Всё довольство и радость от предвкушения будущего гасли в нем. Когда он просыпался утром, первой мыслью было: как выдержать их презрение. Теперь даже вспомнить об этом ему было больно. Он был молод, почтителен, в жизни привык обходиться малым и просто не мог понять этого неизменного самодовольства богатых, их высокомерия. Из-за ощущения собственной несостоятельности он сам себе был противен.

Однажды ночью, поздней ночью, когда они оторвались друг от друга и тихо разговаривали — он закрыл глаза и чувствовал ее тело рядом, — Шарифа сказала, что она хозяину не родная дочь. Сказала, что не помнит родного отца, умершего внезапно в возрасте двадцати с чем-то лет, когда ей был год. Она ничего о нем не помнит. Нет, не знает, от чего он умер. О таком никогда не говорили. Не спрашивают, от чего умер человек. Умирают, когда пришло их время. Мать тогда переехала к брату, торговцу, но и она скоро умерла — от лихорадки. Нет, она не знает — от какой-то лихорадки, и всё. Зачем он задает глупые вопросы? Что она — врач? Когда умерла мать, ей было три года, так что о ней она помнит, очень ярко помнит одно событие и почти ничего больше. Помнит, что играла около нее — мать что-то

готовила на жаровне с углями, на кухне или под тентом. А она споткнулась и столкнула кастрюлю с огня. И сама бы упала в огонь, но мать каким-то чудом успела ее поймать. Она только руки ошпарила, больше ничего. Это всё, что она помнит о матери, — как мать выхватила ее из огня и так испугалась, что отшлепала ее за бестолковость. После смерти матери ее растили в этом доме как родную, и хозяин с женой, помилуй Бог ее душу, относились к ней как к дочери. Он всегда относился к ней как к дочери. Аббас спросил, от чего умерла жена хозяина, а Шарифа сильно шлепнула его по бедру.

Потом обнаружилось, что Шарифа беременна, и поначалу он был сам не свой от радости. Вот как! Скоро у них будет ребенок! Но шли недели, день приближался, и он стал задумываться, почему это так скоро после свадьбы. Стал задумываться и уже не мог перестать. Когда закончились экзамены и освободилось время, эти мысли уже не отпускали. Он боялся, что ребенок не от него. Там какой-то обман, заговор, его заманили в ловушку, чтобы спасти ее от позора, ребенок от кого-то другого, там случилось что-то гнусное, и они попытались это скрыть. И свадьбу устроили спешно, чтобы избавить ее и семью от бесчестья.

Когда ребенок родится и его жена будет спасена от позора, его заставят развестись. Он был уверен, что сестра всё это знала и получила подарок за то, что устроила брак. Нет ничего проще, чем развестись с женой. Достаточно одного-единственного слова. Не поэтому ли братья относились к нему так насмешливо?

Он пытался убедить себя, что разберется с этими мыслями, когда придет пора. Зачем мучиться подозрениями — надо просто проявить твердость, стать мужчиной и просчитывать свои действия. Он сдал экзамены, получил направление в школу, и у него будет работа на всю жизнь. Но он не мог себя убедить. Не мог расправить согнутую дурными предчувствиями спину, не мог посмотреть на себя в зеркало. За словами жены он слышал что-то невысказанное и думал, что ее заставили выйти за него, чтобы скрыть позор, что она познала кого-то другого. Он был убежден, что в доме произошла какая-то мерзость. И не осмеливался даже найти слова для нее. Он не сомневался, что о случившемся известно многим людям и они только ждут, чтобы вдоволь посмеяться над тощим рогоносцем. Такой здесь народ. Будут смеяться над ним до конца жизни, будут показывать пальцем на улице и рассказывать

о его глупости. Он не сомневался в этом, и ему было страшно. Через шесть месяцев после свадьбы жена выглядела так, словно родит со дня на день. Он не сомневался, что в городе многие ведут отсчет. Им больше нечем заняться. И в начале декабря 1959 года, девятнадцатилетний, он сбежал от нее, сбежал из страны и от всего и от всех, кого знал. Это был замечательный и смелый поступок. Сбежал.

Он лежал в темноте и чувствовал, как из уголков глаз текут слезы. Что толку — плакать как младенец столько лет спустя? Наверное, он издавал какие-то звуки — услышал, как завозилась Мариам, а потом окликнула его:

— Аббас!

И чуть погодя он сказал ей:

— Мфенесини.

3. Бегство

«Мфенесини», — сказал он. Она села в темноте и спросила, что это. Он повторил слово, но она всё равно не поняла — зажгла лампу над своей раскладушкой и отвернула от него. Он тоже сидел на кровати и смотрел на нее. Среди ночи. Она подошла и включила лампу у его кровати. Он произнес слово третий раз. Она подумала, что он бредит, еще не очнулся от сна о том далеком месте в Африке, откуда он родом.

— Мфенесини, — сказал он в четвертый раз, с улыбкой. — Моя школа… я там ходил в школу. Я тебе говорил.

Она дала ему блокнот, лежавший рядом с кроватью: он мог написать в нем что-то, чего не мог выговорить, и он написал «Мфенесини». Много писать он не мог — мышцы правой руки и ноги еще были слабы, но несколько слов он мог накорябать. Теперь он разговаривал больше и четыре раза в неделю ходил к логопеду — ему не терпелось вернуть речь. В медицинский центр он ходил сам — упражнялся, всякий раз замечал время. Центр был недалеко. Когда он был здоров,

дорога занимала бы десять минут: до конца их улицы, а там налево и дальше прямо. Первые два раза его провожала Мариам, но потом ей надо было спешить на добровольческую работу в Центре для беженцев, и в третий раз он пошел уже сам и добрался благополучно. После этого ходил один, не спеша. Был конец лета, погода мягкая, шел он медленно, опираясь на палку, чтобы разгрузить правую ногу. Иногда она смотрела, как он уходит, ее храбрый мистер Бутс. Врач сказала ему, что последнее сканирование показывает: повреждение левого полушария не так серьезно, как представлялось поначалу, и афазия очень заметно отступает. Теперь ему надо набираться сил, ходить на сеансы терапии и стараться быть веселым. Поди попробуй быть веселым — но сеансы он посещал, упражнялся исправно, и слова возвращались. Понять его не всегда было легко, но слова возвращались, и сознание было ясным. С каждым днем он мог сказать всё больше, и она до слез умилялась его радости.

Она прочла слово, которое он написал в блокноте, и произнесла, глядя на него. Он кивнул, улыбнулся.

— Так называлась твоя школа, — сказала она, и он снова кивнул. — А где это? — спросила она.

Раньше, когда она спрашивала «Где?», он отвечал «Там, у нас» или что-нибудь в этом роде и менял тему. Обезьяна из Африки. На этот раз он без промедления ответил: «Занзибар». Она отдала ему блокнот, и он написал название. Оно ее не удивило: название несколько раз по неосторожности проскальзывало в его рассказах.

— Расскажи мне о Занзибаре, — попросила она, но он помотал головой и заплакал.

Теперь он часто плакал. С блокнотом в руке она села рядом с ним на кровать и ждала, пока плач не сменился всхлипываниями. Когда они прекратились и он вытер глаза, она сходила вниз, принесла атлас и попросила его показать, где находится Занзибар. И он начал рассказывать, понемногу, о давних временах, до того как приехал сюда. Она вздыхала молча, жалея, что столько лет он прожил наедине со своими тайнами и колебаниями. Почему Занзибар должен быть таким секретом? Когда она спрашивала, где его родина, он отвечал: Восточная Африка. Потом он сказал, что возвращался туда только раз, когда его судно на несколько часов задержалось в Момбасе. Выйти на берег не было времени — только посмотреть на город. Тогда она решила, что его родина — Момбаса.

Уже светало, и она видела, что он утомлен. Наверное, он не спал несколько часов, думал о Мфенесини, — и сказала, что заварит им чай. Когда она вернулась наверх, он уже спал.

Позже он рассказал ей еще кое-что. Она подождала, когда он начнет, но наступил вечер — они были в спальне, а он всё никак не начинал рассказ, прерванный накануне ночью. Она ему напомнила. Не доверяя своей памяти и знаниям, она попросила записывать трудные имена в блокнот или произносить их разборчиво. Он сказал, что вырос в сельской местности около Мфенесини — туда он ходил в школу. Во вторую ночь он говорил только об этом: об отце, скупом Отмане; о братьях Кассиме и Юсуфе; о матери — она в рассказах просто «Ма»; о сестре Фавзии («Запиши ее имя»).

Потом он рассказал о том дне, когда Кассим отвел его в школу в Мфенесини. А Мфенесини назывался так потому, что у дороги росло громадное дерево и плоды его назывались фениси. Она пыталась выговорить слово, и он велел повторить его несколько раз, пока не получится правильно. Фениси. Ей нравилось произносить это слово «фениси» — ощущение было такое, как будто что-то прячется под языком. Он описал

ей плод, но она не могла его себе представить. «Такой упругий зеленый мешочек с липкой мякотью», — сказал он. Нарисовал ей картинку, но она похожего фрукта не видела. В конце концов ей удалось выяснить, что этот фениси — на самом деле хлебное дерево: на другой день она взяла в библиотеке ботаническую книгу с множеством иллюстраций, и, листая ее, они нашли это растение. Плод был невзрачный, но они обрадовались, найдя его в книге. Он не знал, что это такой популярный фрукт, произрастающий в самых разных странах, хотя в бытность свою моряком видел его не раз. Она прочла, что о нем было написано, и Аббас был удивлен — изумлен даже, — услышав, что о нем писали историки, короли и философы. «Наш дурацкий, некрасивый фениси, — сказал он, — кто бы мог подумать, что ему посвящено столько стихов и научных трудов!» Ей пришлось еще раз сходить в библиотеку и поискать книги о хлебном дереве. Выяснили, что император Акбар не любил его, — а она до сих пор и не знала, что был на свете такой император и что такого важного он совершил. Европейцам впервые описали этот плод иезуитские миссионеры в Китае. Знал он об иезуитских миссионерах в Китае? Для нее это было новостью. Да, знал, сказал он, но мало

что кроме этого. Ей опять пришлось сходить в библиотеку и взять книгу о миссии иезуитов. Вот так бывало, когда в нем просыпался к чему-то интерес, — в библиотеку за книгами. Его там знали.

В последующие дни его рассказы продолжались, и она забрала у него блокнот, чтобы самой записывать названия — у него это отнимало много времени. Она показывала ему записи — не наделала ли ошибок в написании. Так было вначале, когда он разговорился. Позже ей приходилось проявлять терпение — он бывал сам не свой от тяжелых воспоминаний или терялся в ее присутствии просто оттого, что она рядом. Он сердился, махал рукой, когда она что-то записывала, обвинял ее в каких-то кознях, говорил на непонятном языке. «Утанифанья фитна»[2], — говорил он. «Можешь продиктовать мне по буквам?» — просила она. Он диктовал, и она записывала в блокнот. Погрузившись в свой рассказ, заново переживая свой стыд, он уже не замечал, записывает она что-то или нет. Он вспоминал что-то, иногда возвращался дальше в прошлое, иногда забегал вперед и словно не в силах был остановиться. Или как будто уклонялся в сторону от

[2] Примечания: 2
Ты делаешь мне искушение (*суахили и араб.*).

того, что предстояло рассказать.

Однажды вечером он рассказал ей о колледже, о том, как был счастлив там. Описывал здания, море, водил ее по коридорам, по длинному проселку, который вел к главной дороге. Он хотел, чтобы она увидела всё это, оказалась там днем, когда он играл в футбол, ощутила ветер с моря. Запинался, умолкал, подыскивая слово, — и не мог остановиться в рассказах о колледже. Почему же он так долго молчал об этих счастливых временах? Она не спрашивала. С самого начала она решила, что не будет задавать вопросов, которые могут смутить его, — оробеет и замолчит.

Сперва они разговаривали ночами, но через несколько дней он начал рассказывать и днем — так ему не терпелось. Она заметила, что он всё больше возбуждается, рассказывая, нетерпеливо ожидает, когда слушательница освободится, и расстраивается, когда не может подобрать слово. Купила ему маленький магнитофон, чтобы он мог говорить в него, когда ему захочется, а ее нет здесь. Он удивленно посмотрел на машинку и положил ее рядом со своим креслом в гостиной. Однажды днем он заговорил о девушке на террасе. Сначала она удивилась — прежде он никогда не говорил о знакомых женщинах, — но

подумала, что это будет очередной его рассказ о каком-то юношеском флирте, приключении. Но очень быстро по его голосу и выражению глаз она поняла, что близится объяснение того, о чем он молчал все годы. И оно не отняло много времени. Он не колебался — лишь иногда язык подводил его, — не уходил в сторону, не вдавался в подробности в этом первом рассказе. Он рассказал о том, как женился и бросил жену беременной. Несколько минут они сидели молча. Они сидели в комнате с выходом в сад, и за открытой дверью террасы она слышала пение черных дроздов. Она отгоняла от себя слово, но оно всё равно лезло в голову. Двоеженец. Она вдруг ощутила усталость от предстоящих сложностей. Он сидел перед ней, худой, измученный, и смотрел в пол.

— Ты тридцать лет ждал, чтобы сказать мне, что был женат, когда мы с тобой женились, — сказала она спокойно. — Что ты на самом деле не женат на мне.

Он изумился.

— Конечно, я на тебе женат.

— По закону — нет, — сказала она тоже в изумлении: неужели ему не приходило в голову, что он двоеженец?

— По какому закону? Ты моя жена. О чем ты

говоришь?

Помолчав, она спросила:

— Ты детям скажешь?

Он посмотрел на нее растерянно, потом кивнул.

— Позже, — сказал он.

Наверное, всё было гораздо сложнее, чем в его рассказе о том, что он держал про себя столько лет: сбежал, бросил жену с ребенком. Он не назвал имени жены, но она дознается. Не позволит ему опять уползти в раковину. В уме у нее сложился образ — нечеткий, смутный, смесь из деталей других образов. Это была фигура матери с ребенком в незнакомом пейзаже — лишь тень или силуэт женщины с ребенком, идущей по улочке. Она не понимала, почему этот образ причиняет ей такую боль. Расскажет он детям? Что он им скажет? Или промолчать, не затруднять им жизнь? На свете, наверное, битком двоеженцев.

Ему было лет девятнадцать, когда он бросил беременную жену. И после никому не послал весточки, не встретился ни с кем из тех, кого знал в прошлом. Так он сказал. Не сохранилось ни фотографии, ни клочка бумаги, ничего, связывавшего его с тем местом, — об этом он позаботился, и она за всю их совместную жизнь ничего такого

не видела. Она пыталась разобраться в этом сама, понять, что его так испугало, какой страх им руководил. Они возвращались к этому несколько раз. Он назвал ее имя, имена ее братьев, которые и не были ей настоящими братьями, а были одержимы своими вожделениями. Он рассказал ей, как они над ним насмехались, как запугивали его. Теперь он уже не знал, была эта женитьба ловушкой или нет. Не знал, что думать. Не знал, как ему вообще удалось сбежать, — а сбежал ведь.

Как заставил себя поверить в это жалкое извечное оправдание, что ребенок не от него? Она не спросила его об этом — не хотела прерывать его рассказ. Но спросила другое: почему он не мог заговорить о том, что с ним было? Почему, столько лет с ней прожив, не заговорил об этом?

Неужели ей не понятно почему? Он был напуган тем, что натворил, да и рассказать раньше было некому.

— Некому? — повторила она.

Он пожал плечами. Когда он с ней познакомился, жизнь у него была налажена: он странствует по свету, ни ответственности ни перед кем, ни связей. Когда он сказал ей, что надо уехать из Эксетера, он сам не понимал, что делает. В те времена, если ему не нравилось то, что происходит

вокруг, он просто уезжал. Уезжал, приезжал — как заблагорассудится. Сказав ей: «Давай уедем», он отнесся к ней так, как будто они устроены одинаково, она тоже может всё бросить и уехать. Он не думал, что это на всю жизнь, думал, что это веселая затея и там где-то они будут делать что заблагорассудится. Но почувствовал, что без нее уже не может жить.

Она пыталась понять, чего он так боялся.

Он смеялся. Она не понимала, из какого крохотного места он сбежал, какой крохотной представлялась тебе там твоя жизнь. А боялся он большого мира — вот чего он боялся. Или просто по природе был боязлив. И поступил позорно, он это сознавал. Есть поступки неприемлемые — за них тебя будут презирать. Он сознавал, что это как раз такой поступок и за него он будет презираем всеми. Но совершил его, пусть и с ужасом. И лишь потом ему стало стыдно. Лишь потом он научился подавлять в себе страх и стыд и проживать свою жизнь отщепенцем.

И еще она пыталась понять, за что ему так стыдно и что за стыд принуждает его жить со своей виной молча, хотя мог бы рассказать ей и в этом найти утешение, как нашел его только теперь, под конец. Или мог рассказать им всем, и

наверняка они отнеслись бы с сочувствием к его дикому поступку. Как он мог столько времени об этом молчать? Она пыталась понять.

Они сидели молча, и он ощущал, как подступает дурнота. А она устала его слушать. Его рассказ утомил ее, хотелось оказаться подальше от его умоляющих глаз. «Устала», — призналась она ему. Может, потом расскажет ей, *как* он сбежал. Она хотела бы об этом услышать. Или он вообще устал об этом рассказывать?

Он устал *молчать* об этом, столько времени держать в себе, и она должна была устать, ответил он. Она видела, что лоб у него вспотел, и вытерла его ладонью. Видела, что он изнурен, и сказала: «Оставим пока эту тему. Остынь-ка пока в саду, а договорим после». Он протестовал, сердито морщился, но она сказала ему, что он просто упрямится. Она встала, показывая, что не намерена вступать в спор. Видно было, что он хочет продолжать разговор, но она больше не хотела слушать, по крайней мере сейчас. Не хотела слышать его голос, слушать о его горестях. Ничего не хотелось слышать — хватит слов. И знала, что он несколько дней не будет с ней разговаривать.

Уже в кухне она слышала, как он разговаривает сам с собой, шепчет. Такое с ним бывало, и, когда

она подходила поближе, чтобы расслышать, он умолкал. Она думала, что он говорит на родном языке, но не была уверена. Это могла быть просто тарабарщина. Он мог застонать в любой час дня и ночи, вдруг, ни с того ни с сего, и особенно мучительно было слышать эти стоны глубокой ночью, когда они не прекращались по несколько минут. Бывало, она стояла перед ним, когда он сидел в своем кресле в гостиной, с открытыми невидящими глазами, и стоны его звучали как рыдания, и по щекам текли слезы.

— Аббас, что с тобой? Где болит?

Но в такие минуты до него было не достучаться, и она обнимала его, укачивала или пыталась встряхнуть, вывести из транса. Иногда он это принимал, а иногда отталкивал ее. Ругался: дура, шлюха. Он подолгу сидел, ничего не делая, или смотрел в окно, или читал газету, решал кроссворд. Несколько дней назад она услышала, как он бормочет что-то про Риджентс-Парк и Тутанхамона, посмеиваясь и улыбаясь, кому-то что-то внушает и шепчет, шепчет. Она подумала, что это лекарства туманят его сознание.

Она пошла наверх, чтобы собрать вещи в стирку и проветрить спальню, и увидела, что он вышел и сидит на террасе. Был конец дня, солнце

за домом, терраса пряталась в тени. Он сидел согнувшись, опершись на подлокотники, сидел совершенно неподвижно, хотя ей показалось издали, что у него дергается кожа на шее. Дойдет до него, что он не просто молчал о своем позоре, но еще и лгал им — ей — тридцать лет? Что там делала эта брошенная женщина? Сказала, что он пропал, и развелась ввиду его отсутствия. Можно ли так в Занзибаре? Развестись с отсутствующим мужем? Или всё еще ждет его возвращения, в ловушке его отсутствия? Может быть, он и не считает себя двоеженцем — ислам дозволяет иметь четырех жен, а он, наверное, женился по этому закону. Почему четыре? Не три, не пять, не шесть? В оправдание ему надо сказать, что, женившись по здешнему закону, он не взял в жены вторую. Что он скажет своим детям? *Их* детям. Скажет ли им, что они дети двоеженца?

Через несколько дней вечером позвонил Джамал. Он остался один в доме: Лайза и Джим уехали на неделю к приятелю в Берлин. «Тебе понравится Берлин, — сказали они ему, — как-нибудь съезди туда». Лина на несколько дней уехала домой в Дублин, а потом собиралась с другом в поход — пеший или лодочный по реке Шеннон, что-то в этом роде. И у Джима, и у Лины послед-

ний срок подачи работы был такой же, как у него, и он удивлялся, как у них достало смелости на этот перерыв. Сколько хватало сил, он сидел за письменным столом: писал, проверял факты, правил, а устав или застряв, залезал для отдыха в интернет. Он позвонил матери — постоянно чувствовал себя виноватым из-за того, что редко звонит. А она не так уж любила разговаривать по телефону; всякий раз торопилась закончить разговор и никогда не задерживала его, если он куда-то торопился. А отец просто ненавидел телефон, он морщился от звонка и грозно хмурился, когда кто-то разговаривал. Их, вероятно, вполне устраивало, что им не звонят, но Джамал всё-таки чувствовал себя виноватым. Надо было позвонить, осведомиться об их здоровье, проявить заботу. Да, у него были основания чувствовать себя виноватым. Последний раз он звонил им недели две назад, а не навещал их, наверное, больше месяца. Тогда говорилось, что состояние отца улучшается, но всё равно он должен был показаться там, быть заботливым сыном, когда отец болен и мать угнетена из-за этого. И вот он позвонил вечером, один в доме, одинокий, но с приятным чувством от того, как продвигается диссертация, — хороша, плоха ли, но почти гото-

ва. Так он сказал ей: почти готова.

Когда спросил об отце, она ответила, что хорошо: с каждым днем он может сказать и сделать всё больше. Он подумал, что мать осторожничает и всё не так благополучно, — или отец где-то рядом и она не может говорить свободно. Она не предложила передать трубку отцу. Он спросил, как она сама-то, и она сказала: всё хорошо, а что с ней может быть не так? И тогда он сказал, что собирается навестить их в выходные; она сказала, что это было бы прекрасно, и он услышал улыбку в ее голосе.

Он раздумывал, не написать ли имейл Ханне — не захочет ли тоже приехать (он знал, что Ник будет чем-то занят), — как вдруг сердце екнуло: внизу послышался шум, понятно было, что кто-то ломится в дом. Возвращаясь домой, он всегда накидывал цепочку, если оставался один, а иногда даже спускался ночью проверить — не забыл ли. Сначала он подумал, что это ребята, которые досаждают соседу — тому, который красил сарай в саду в день его переезда в эту квартиру. Сидя в столовой, они иногда слышали громкий стук и выкрики, после чего ребята со смехом убегали. Этот старик был единственным темнокожим на улице, не считая Джамала, но Джамал был не так

уязвим для их выходок, поскольку жил в доме с другими студентами. Он подумывал, что надо бы поговорить со стариком, проявить вежливость, посочувствовать его неприятностям, но так и не собрался. Не знал, что сказать. Только улыбался ему при встрече.

Так что, когда услышал шум внизу, подумал, что это ребята — он их ни разу не видел, представлял себе: парни и девушки лет пятнадцати-семнадцати, поджарые и улыбающиеся, как-то узнали, что соседи уехали на несколько дней, что он один, и почему бы его не попугать. Он считал себя трусоватым и старался избегать всяческих столкновений. Не только потому, что боли боялся, но и унижения, громких насмешек, боялся выглядеть глупо. С легкой дрожью он спустился к двери, лихорадочно думая, как себя повести. Прежде чем он подошел к двери, раздался звонок, и он увидел, что дверь отперта и держит ее только натянувшаяся цепочка. Надо бы поставить на двери засов.

— Кто там? — рявкнул он, чтобы скрыть страх.

Он сразу узнал голос Лины. Голос звучал встревоженно, с одышкой. Он торопливо снял цепочку и впустил ее. За те несколько секунд, пока возился с цепочкой, он представил себе, как она стоит

на тротуаре, встревоженно оглядываясь на человека, шедшего следом за ней по улице. Открывая дверь, он ожидал увидеть у нее за спиной два поблескивавших в темноте глаза, но там ничего такого пугающего не было. Воображение, как всегда, сыграло с ним шутку. Вид у нее был усталый, но вошла она с робкой улыбкой облегчения. Парадная дверь открывалась прямо в ту комнату, где они ели. Лина положила сумку на стул и стояла с неуверенным видом. Потом подошла и обняла его, и он обнял ее, крепко и благодарно.

Две недели назад они танцевали на вечеринке, устроенной одним из ее приятелей. Это была веселая вечеринка по случаю присуждения докторской степени — смех, объятия, громкая музыка. Ближе к концу они танцевали, тесно прижавшись, и по дороге домой целовались. Джамалу не верилось, что всё это происходит с ним наяву, — подспудно шевелилась мысль, что он недостоин такой красавицы. Он был удивлен, когда она позвала его на вечеринку. Они жили в одном доме, разговаривали по-соседски, иногда вчетвером выходили выпить, но дружба их была деловитой. Они разговаривали о своей работе, о своих родителях и друзьях, о счетах за газ, и, когда говорила Лина, Джамал смотрел на нее с удоволь-

ствием, стараясь, правда, чтобы это не приняли за влюбленность. Случалось, он наблюдал за ней, когда она была в саду. Она оказалась страстным садоводом; они расчистили сад и посадили яркие цветы, как он замыслил еще в день приезда. Когда она возилась там, а он читал за письменным столом у окна, ему трудно было сосредоточиться на странице. Но надо было соблюдать правила общежития, не глазеть на нее открыто. В таком расположении духа он и пошел с ней на вечеринку — как с соседкой — и был радостно удивлен, целуясь с ней по дороге домой.

Когда они подошли к двери, она слегка отстранилась и положила ладонь ему на грудь. Он понял это как сигнал остановиться и попытался заглянуть ей в глаза — понять, что это означает, но она отвела взгляд. Он постоял внизу, чтобы успокоиться, а потом пошел наверх к себе в комнату. Его как будто отшили: то ли он неправильно понял ее, то ли поторопил события, то ли злоупотребил доверием. Он знал, что у нее есть давний друг в Дублине, иногда она о нем рассказывала. Его звали Ронни, он был журналист, работал в дублинской газете, и раз в несколько недель Лина ездила к нему. Так что Джамал не ожидал никакого продолжения после этих поцелуев; его и не

последовало. Так, баловство после вечеринки, забава. Всё вернулось к соседским отношениям, как будто ничего и не было. Но сейчас она опять была в его объятиях. Он подумал о том вечере, когда обнимал ее (вспоминал об этом несколько раз), но сейчас почувствовал какое-то напряжение в ее руках и спине, неожиданную твердость в ее объятии, какую-то нужду. Но объятье ослабло, и она отступила на шаг.

— Случилось что-нибудь?

— Нет. — Она покачала головой. — Мне надо что-нибудь съесть.

Он сел за стол, а она пошла на кухню, сделать сандвич с сыром. Откусив несколько раз, она заговорила. В выходные они с Ронни на несколько дней отправились на лодке по реке Шеннон, а когда вернулись в Дублин, узнали, что чуть не случилась катастрофа.

— Родители поехали на выходные в Голуэй, а моего младшего брата Марко оставили в доме одного. Они впервые так сделали — оставили его в выходные. Хотя он уже не маленький — семнадцать лет. Просто раньше его не оставляли в выходные. Его спросили, не хочет ли он с ними. Там была какая-то встреча друзей по университету, и Марко это было неинтересно. Спросили, не

хочет ли он, чтобы позвали в гости кого-нибудь из его друзей, — он сказал, нет, побудет один. Отправились в пятницу под вечер, проехали часа полтора и повернули назад. Мама сказала, что у нее нехорошее предчувствие, и отец сразу повернул обратно. Марко они нашли в гараже, в маминой машине с работающим мотором. Успели вовремя — но ты представляешь?

Ничего подобного он раньше не делал. Был как все. Слушал музыку, знал, что модно, смотрел футбол по телевизору. Может быть, любит, чтобы с ним немного нянчились. Мама по утрам отвозит его в школу, выполняет все его прихоти насчет еды, позволяет смотреть допоздна телевизор. Нормальные подростковые пороки, мне кажется. Мальчишеские. Я говорю ему, что он балованный мальчишка. И вот выкидывает такое. Невозможно поверить. Чего-чего, а этого я от Марко не ожидала. Не понимаю даже, сознательно ли он это сделал, или ум за разум у него зашел. Он ничем не мог объяснить свой поступок — говорит, что ему вдруг стало ужасно тяжело и одиноко. Это его слова. Как можно годами жить с человеком и не знать, что творится у него в голове? Бог знает, как мама догадалась. Я сидела с ними последние несколько дней, и они всё гово-

рили и говорили об этом, и о своих чувствах, и о том, что нам теперь делать. Психиатр предлагает какой-то курс семейной терапии, включая меня, но я сказала: пока начните и посмотрите, как пойдет. Мне мысль об этом невыносима — какой-то чужой, самодовольный человек будет сидеть, задавать интимные вопросы и раскладывать нас по полочкам. Ты представляешь себе, чтобы твой брат устроил такую глупость?

— А сейчас он как? — спросил Джамал.

— Он сам потрясен тем, что устроил. А как же? Он в ужасе от своего поступка, но папа с мамой теперь всегда будут в тревоге за него… и сам Марко тоже. Если сам не понимает, что его толкнуло на это, какая может быть уверенность, что это не повторится?

Когда Лина заварила чай и несколько минут посидели молча, она стала рассказывать о родителях. Джамал знал, что ее отец — итальянец; догадаться было нетрудно: ее звали Лина Сальвати. Родители познакомились, когда он приехал на год в Дублин для написания диссертации в Тринити-колледже.

— Почему в Дублин? — спросил он.

— А почему нет? — ответила она. — Тебе кажется, это неожиданное место для изучения

английского? А как же Джойс? Йейтс? И Джонатан Свифт? Не говоря уже об Оскаре Уайльде?

— Извини, — сказал он.

Когда отец закончил курс в Венеции, он вернулся в Дублин, к маме. Они оба переводчики, делают самую разную работу: ученые статьи, беллетристику, поэзию. После того происшествия отец напомнил им, что такое же устроил один из племянников: включил мотор в запертом гараже, но там тоже успели вовремя. Когда он рассказывал об этом, Марко с ними не было; отец смотрел на них, не говоря, о чем думает, — а думал, может быть, о том, что Марко захотел узнать ощущения самоубийцы. Но спустя минуту отец скривил лицо и отбросил эту мысль.

Когда Лина выговорилась, они еще долго сидели за столом, пили чай, болтали, и вскоре Джамал почувствовал, как в нем нарастает приятное волнение. Когда настал решительный момент, он не застал его врасплох, как было после вечеринки. Она протянула к нему ладонь, и он сжал ее между своими. Тогда она спросила:

— Можно остаться у тебя на ночь?

Позже, лежа в темноте с раздвинутыми занавесками, она сказала, что много думала о нем в отъезде. Она лежала рядом с ним, и он слышал в

темноте ее улыбку. Когда они плыли по Шеннону, она написала ему открытку, но не подвернулось случая отправить. Или не решилась — засомневалась, надо ли. Родителям отправила, а ему не решилась, оставила ее в сумочке. Когда она отлучилась, Ронни порылся в ее сумке — ему что-то понадобилось, она так и не выяснила, что именно, потому что он прочел ее открытку. Он был обижен, разозлился — можешь себе представить. «Что это такое, блядь?» В такой он был ярости. А в открытке ничего особенного не было: «Привет, путешествуем прекрасно, а в конце: думаю о тебе с нежностью, целую, Лина». Ронни это не понравилось: «Думаю о тебе с нежностью, целую, Лина».

— Я рассказывала тебе о Ронни? — спросила она.

Он кивнул в темноте и сказал:

— Да, немного.

На самом деле у них всё заканчивалось, только она не знала, как ему сказать, как заговорить с ним об этом. Они были вместе два года, но постепенно ей становилось с ним всё труднее. Поначалу ей это нравилось — его энергия, постоянное желание что-то предпринимать — пешие прогулки, туристические походы, сходить на

выставку гоночных автомобилей, на фестиваль искусств. «Давай внесем в жизнь немного радости и света». Он выдергивал ее из природной инертности; эти походы и вылазки вызывали в непривычном теле приятную боль. Но со временем они стали утомлять ее, а в его энтузиазме ей чудилось что-то исступленное. По правде говоря, он *сам* стал утомителен, хотя она гнала от себя это предательское чувство. Он был щедр, даже по отношению к совершенно чужим людям. Ей не хотелось думать о нем плохо, но к некоторым его затеям у нее не было вкуса. Она пыталась ему это объяснить, а он смеялся, говорил, что она ленивая корова, ей только бы сидеть в кресле с книжкой в выходные. Ну, положим, не все выходные, но, может быть, чуть меньше суетиться. «Так много хочется попробовать, столько разного испытать», — говорил он. Он не хочет просидеть всю жизнь на заду. Он любил Ирландию, хотел повидать ее всю и никуда не хотел выезжать, даже на короткое время.

— И это правда, — сказала она. — Я много думала о тебе. Думала о тебе, когда полагалось бы думать о нем, — с той вечеринки, но и до нее еще.

Джамал тихонько замурлыкал, что означало

удовольствие, согласие — пожалуйста, продолжай. Он гладил ее, ожидая, что она отзовется таким же мурлыканьем. Простой разговор влюбленных.

— Он нашел открытку на второй день отпуска, — продолжала она, уже тише, и улыбки в голосе не было. — Он пришел ко мне с открыткой в руке, показывая ее как улику. «Что это такое, блядь?» Он разорвал открытку и швырнул наземь — замусорил возлюбленную Ирландию. Так у нас прошла вся неделя — в спорах о каждой ерунде. Ночью в палатке он требовал секса, и иногда казалось, что он хочет сделать мне больно. Слышал бы ты, какими словами Ронни тебя обзывал! Не ожидала от него такого… такой злобы. Не ожидала и о себе такое услышать, не говоря уже о ниггерах таких-то, пакистанцах таких-то и больших членах. Может, в нем говорил обиженный любовник, и позже он устыдится своих слов. Чем больше он говорил, тем яснее становился для меня, но почему-то я думала, что мы еще сможем дотянуть до конца отпуска. Не знаю, почему сразу не пошла к ближайшей автобусной остановке и не уехала в Дублин. Может быть, боялась заблудиться, или попасть в беду, или думала, что он устроит сцену. Но к концу недели я поняла, чего хочу: поскорее

вернуться сюда и всё тебе рассказать.

Но, вернувшись в Дублин, узнала, что Марко пытался покончить с собой. Несколько дней не могла опомниться от удара, понимая, что родителям и Марко понадобится гораздо больше времени, чтобы разобраться в смысле случившегося. Так что через несколько дней ей захотелось поскорее уехать, пока они и ее не втянули в бесконечный круг своих сожалений. Ей не терпелось вернуться сюда, к своей работе, к нему — рассказать ему о случившемся. Рассказать, как она к нему относится.

Потом настал его черед рассказать, какая она красавица, как он влюблен в эти синие глаза, в этот нежный голос. Не странно ли, что живя через площадку от нее столько месяцев, он не знал, как она к нему относится, а сам только о ней и мечтал?

— Я знала, — сказала она. — Знала о твоих чувствах. Этого нельзя было не заметить, а потом стала думать: как было бы хорошо… Когда это случилось после вечеринки, я подумала, что у нас началось, но ты стеснялся или сдерживался, я не могла понять почему.

— Ты положила ладонь мне на грудь, — сказал он. — Я подумал, что ты говоришь: довольно.

— Семиотика открытой ладони. Движение совести. Жаль, что ты не смахнул мою ладонь, — ответила она.

— Ты рассказывала о твоем друге, — сказал он. — Я подумал, что мне ты говоришь: только без фантазий.

— Я хотела сказать: не думай о нем, там всё кончено, — сказала она, улыбаясь в темноте.

— Меня неправильно воспитывали, у меня не было опыта в таких делах, не было смелости. Отец не одобрял таких отношений, и я, наверное, отсталый в этих вопросах, — сказал он.

— В общем, пока была там, я подумала: вот вернусь и скажу тебе, что нам пора уже, — сказала она.

Они проговорили почти до рассвета; он рассказал ей об отце и его болезни, сказал, что в выходные поедет в Норидж повидать их. Она сказала, что только нашла его, а он уже собрался ее покинуть. Всего на два дня, пообещал он, и сразу примчится. Когда они уснули, уже светало.

Анна тоже позвонила домой в тот вечер и тоже была одна. Как и Джамал, она почувствовала по голосу матери, что дома неладно. Ей показалось, что мать готова расплакаться — но не расплакалась, по крайней мере Анна этого не

услышала. Она продолжала расспрашивать, и в конце концов мать резко ответила, что ничего не случилось, отцу с каждым днем всё лучше. Он делает упражнения, ходит на прогулку и несколько раз в неделю на сеансы терапии. Он крепнет с каждым днем.

— Тогда почему у тебя несчастный голос? — спросила Анна.

— У меня? Вовсе не несчастный, — сказала Мариам. — Просто день был утомительный. Вот приедешь, и мы повеселеем. Сколько месяцев уже…

— Знаю, — перебила ее Анна. — А он всё вспоминает былые времена?

Мариам уже рассказывала ей, что отец вспоминает времена, о которых они ничего не знают, и Анна требовала, чтобы ей прямо сказали, о чем он говорит. Но Мариам ответила, что он сам им расскажет, когда они приедут. Из этого Анна заключила, что рассказывать там особенно нечего, иначе мать не удержалась бы и сама всё выложила. Она полагала, что, если на мать нажать немного, она не станет упорствовать.

— Терапия очень действует. Он говорит не умолкая. Я не успеваю за его рассказами, — сказала Мариам и замолчала на минуту. Потом

продолжала шепотом: — Он расстраивается из-за войны в Ираке, как будто только сейчас стал понимать, что происходит в мире. Наверное, это признак выздоровления, как думаешь? Сидит, смотрит телевизор и ругается. Каждый раз, когда передают известия — об этих безумных убийствах и прочем. Вот до чего он окреп. Не могу долго говорить — не выносит телефонных разговоров. Не обращай внимания — ты-то как? На выходные Джамал к нам приедет.

И Анна решила, что тоже поедет. Она не видела родителей почти пять месяцев — с тех пор, как переехала в Брайтон, — но звонила им регулярно, а с Джамалом почти ежедневно обменивалась имейлами. Ничего существенного она не могла пропустить. Но пять месяцев — долгий срок. Таких долгих перерывов еще не было. Она была загружена преподавательской работой, но школа уже месяц как закрылась, а она всё откладывала поездку в Норидж. Она знала, что Ник не поедет, и даже была этому рада, тем более если отец взбодрился. В любом случае Ник скучал бы и огорчался, что не может работать. Ему было необходимо заниматься хотя бы один день из двух выходных, иначе ему казалось, что не справляется с жизнью. Этим вечером он был в Лондоне,

на обеде с участниками конференции, а потом собирался остаться у друзей. Анна подумала, считается ли это работой. Она не бывала на научных конференциях, не знала, похожи ли обеды ученых на семинары, где умные говорят, а глуповатые слушают — или делают вид. В рассказах Ника конференции были скучны и утомительны, обеды напоминали пытку, а другие участники — тупые и недоделанные (его выражение). Зачем же он их посещает? Это его работа. Анна подумала, стоит ли беспокоиться из-за того, что он остался у неназванных друзей, и решила, что не надо. Будет еще много подобных случаев, и если каждый раз волноваться, сойдешь с ума. Но что-то между ними назревает, она чувствовала. Что-то происходит, но что — она пока не понимала.

Она предполагала, что рано или поздно Ник начнет заводить романы, если уже не начал. Он всегда поглядывал на женщин и, заметив привлекательную, украдкой, долго, смотрел на ее грудь — Анна делала вид, что не замечает. Может быть, все мужчины такие. Теперь он так часто бывал на конференциях и собраниях, что романы, думала она, неизбежно последуют. Может быть, партнер, остающийся дома, всегда так думает. Принять такое решение — не волновать-

ся — она не могла, но не знала, какой будет ее реакция на событие, которое ей представлялось неизбежным. Как она поступит, когда узнает — если узнает? Она могла себе это представить: можно жить с таким человеком, как Ник, и хорошо понимать, что он способен на приключение в отъезде, но не знать ничего определенно. А узнав? Предъявить ему ничем не подтвержденное обвинение? Промолчать и затаить обиду? Самой завести любовников? Наверное, она сама не представляла себе, как поступит, и пока что надо было жить с этим и ждать, что́ ей подскажут чувства. Но случится это непременно, раньше или позже. Ник — дамский угодник. Он давно вовсю флиртует с их соседкой Беверли, и хотя изображают это как шутку, Анна думала, что они возбуждаются всерьез, подшучивая друг над другом, обмениваясь комплиментами, обнимаясь и целуясь, наконец. Однажды… давно ли она стала об этом задумываться?

Беверли была та самая женщина, которую они увидели в саду в день приезда, а через несколько дней Анна нагнала ее на тротуаре около их домов, и они разговорились. На вид ей было сильно за тридцать или под сорок, блондинка с тугим перманентом, и в ту субботу на ней были обтяги-

вающие джинсы и джемпер с широким вырезом, сползающий с одного плеча, как и было задумано. Она работала в городском совете, в отделе планирования, где выдавались разрешения на перестройку квартир, расширение, устройство лофтов, стеклянных дверей и прочего. Беверли быстро рассказала ей о соседях по обе стороны и напротив через улицу. «Тони и Бет, она врач. Работает в соседней клинике, а он учитель. Шон и Робин — он агент по продаже недвижимости, а она сидит дома с детьми. В том доме — художник. Во время Недели искусств художники открывают свои дома для посетителей — можно сходить к нему, посмотреть. Чем его подруга занимается, не знаю. В том доме — Софи, живет на пособие. Целый день мотается с деловитым видом, но на самом деле бездельничает, живет на наши деньги. В доме двадцать шесть Эдвина, ей девяносто восемь лет, абсолютно глухая, но каждый день выходит прогуляться по улице, мимо магазинов на дороге, каждый день, в любую погоду. Моя дочь Билли иногда громко заводит музыку, особенно когда меня нет. Не обращайте внимания. Страшно скандалит, если просишь сделать потише. Если вам что-то понадобится, заходите в любое время. И скажите вашему роскошному другу. Так

откуда вы приехали?» — спросила Беверли, желая узнать что-нибудь и о новой соседке в обмен на предоставленную информацию.

Иногда вечерами они слышали крики и громкое ворчание — обычно Беверли — и басовитый голос мужчины. Анна не раз видела мужчину, входившего в тот дом. Темноволосый, в элегантном костюме; первый раз она увидела его, когда он припарковал свой новенький элегантный «сааб» во втором ряду и перешел улицу, ни разу не взглянув ни направо, ни налево. В одной руке он нес, по-видимому, картину в раме, но к Анне она была обращена тыльной стороной. Анна предположила, что он и есть тот человек, на которого кричит вечерами Беверли, грохоча мебелью. Ей представлялось, что такой не станет кричать в ответ, а будет отвечать уверенно, зловещим голосом, дожидаясь, когда она уймется.

Однажды она увидела, как тот, в смокинге и белом шелковом кашне, словно гангстер, собравшийся на встречу, куда женщина не приглашена, задержался на минуту перед дверью. Человеку, профессионально занимающемуся литературой, как Анна, ничего не стоило достроить сюжет: Беверли — покорная любовница богатого артдилера с сомнительными связями. Шумной

дочерней музыки, о которой предупреждала соседка, Анна не слышала — может быть, раза два-три утром по воскресеньям. Слышала, как Беверли кого-то отчитывает, как поздними вечерами разговаривает по телефону, но слов расслышать не могла, а только любовные интонации и громкий бесстыжий смех. Как-то вечером, недавно, крики ее сделались особенно громкими, а рокочущий голос мужчины превратился в рев. Потом закричала дочь: «Хватит! Хватит!» Чуть погодя хлопнула уличная дверь, и послышались рыдания. По голосу похоже было на Беверли.

Она не совсем понимала, почему относится к Беверли настороженно, — потому ли, что та отчаянно кокетничает с Ником, или потому, что любит стоять у окна, беззастенчиво наблюдать за происходящим на улице, а потом, когда подвернется слушатель, откровенно комментировать увиденное. Она думала, что в случае каких-либо неприятностей Беверли союзницей не будет.

Ник ничего этого не чувствовал. Считал ее забавной, может, немного чересчур любопытной.

— Она приятная, — сказал он.

Когда решили переехать в Брайтон, Анна сочла это важным решением, ответственным, как бы означавшим, что они вместе надолго. О ребен-

ке она уже подумывала, а после переезда, этой декларации постоянства, мысль о нем стала настойчивее. Они были вместе почти три года, жили хорошо, у Ника намечалась карьера. Самое время подумать о ребенке. Когда она сказала об этом Нику, он отнесся к ее идее с интересом, но и скептически. «Зачем спешить?» — сказал он. Она задумалась. Завести ребенка казалось естественным сейчас шагом, подсказанным, может быть, ожиданиями, которые сложились сами собой, — инстинктом, о котором она не размышляла. А когда стала размышлять, подумала: что хорошего есть у них в жизни? Ник привлекателен и умен; с ним она чувствовала себя красивой и желанной. Секс был удовольствием. Она полюбила его еще в университете, открыв для себя его радости и легкую их доступность. Этот опыт освободил ее от страхов, перенятых у родителей, у отца с его иммигрантскими тревогами, с настойчивым желанием избегать чужого внимания, быть незаметным. Благополучная половая жизнь позволяла чувствовать себя искушенной и практичной, рождала ощущение, что она здесь на своем месте. Ник к тому же был хорошим другом и умел ладить с миром, расположить к себе. В нем не было горячности, напряженности,

деспотизма. Не было.

Перечисляя про себя его достоинства, она вдруг ощутила внутреннее сопротивление, протест. Хотелось подавить это чувство, но она не стала, и не сразу, но сложилась мысль: она не хочет ребенка от Ника. Минуту назад она хотела от него ребенка, а сейчас сильно засомневалась. Какая же дура! Она не хотела быть связанной с ним навсегда, а это неизбежно, если родить от него. Она не хотела, чтобы Ральф и Джилл навсегда стали частью ее жизни. И Лора, и дядя Дигби. Она не хотела жить до конца дней, согласуясь с их понятиями и убеждениями. Поначалу пугало это предощущение конца, но она привыкла; помог и Ник, отлучавшийся всё чаще, приучивший к своему отсутствию. Может быть, намеренно приучал, не признаваясь в этом. Нет, вряд ли. Слишком был сосредоточен на себе, чтобы задумываться еще об этом. И она позволяла себе думать о нем всё трезвее, без сантиментов.

Он повеселел с тех пор, как начал преподавать, в нем появилась легкость. Она видела, как в нем растет уверенность. Он не всегда объяснял свои поступки и мнения, как бывало, и не всегда дослушивал ее, прерывал, если ему становилось скучно. Прерывал нечасто, но ее это задевало

— такая резкость была чем-то новым в их отношениях. Эта небрежность возникла не вдруг, иначе Анна не смогла бы подавить обиду и они бы ссорились. Проявлялось это постепенно, и она терпела его небрежность, объясняя сложностями новой работы, грузом непривычных обязанностей. Она и сама была загружена учительской работой и за суетой почти не замечала того, что позже определила как покровительственную манеру. Ей не верилось, что он не отдает себе в этом отчета, она предполагала, что очень скоро — за эти несколько месяцев после переезда из Лондона — ему стало скучно с ней. Или она преувеличивала? Может быть, это только фаза в их отношениях, временная, но ее это угнетало, омрачало жизнь. Тут-то и зародилось нежелание заводить ребенка с Ником. Иногда они по два-три дня вообще не прикасались друг к другу, чего прежде не было, и она задумывалась: из-за чего возникла эта отстраненность между ними? Нет ли тут и ее вины?

Сообщив ей о конференции в Лондоне, он сказал, что вечером, наверное, вернется. А утром, уже выходя, сказал, что заночует у старых университетских друзей, но, если планы изменятся, он ей позвонит. Ничего особенного в этом не бы-

ло, но ей не понравилось, что он не счел нужным ни спросить согласия, ни объясниться подробнее. Это признак чего-то, она не сомневалась. Ей было противно, что голову занимают эти ничтожные обиды, противно, что сама становится мелочной и подозрительной, как надоевшая жена, которой только и остается, что терпеть.

На другой день Джамал за письменный стол не садился — отсыпался за прошлую ночь. Всякий раз, открыв глаза, не мог поверить, что рядом Лина. Потом, когда окончательно проснулся, ее не было; слышался тихий шум воды, и он понял, что она у себя, принимает душ. Днем они сходили в «Сейнсбери» за едой для праздничного обеда. Выходя оттуда, они увидели, как у мужчины на тротуаре подогнулись колени и он осел на землю. Лицо его с глухим стуком ударилось о тротуар. Лина охнула и вытянула руку — удержать Джамала, чтобы не бросился к нему. Это было инстинктивное движение, и, увидев его удивленные глаза, Лина сразу опустила руку. Он подбежал к упавшему — вокруг того раскатились апельсины и овощи — и присел рядом. Он сразу узнал его. Глаза у человека были закрыты, из-под головы сочилась кровь.

— Это наш сосед. Позови людей. — Он показал

на магазин.

Упавший морщился от боли, и от этого его лицо выглядело более старым, чем издали. Джамал спросил:

— Вы меня слышите?

Тот кивнул почти незаметно; шея его была неуклюже вывернута на тротуаре. Потом он открыл глаза. Джамал не знал, повернуть ли его поудобнее или не трогать, пока не придет кто-нибудь более опытный. Может быть, у него удар, и его нельзя поворачивать. Или пьян? Из угла рта у него вытекала тонкая струйка темной жидкости — то ли кровь, то ли рвота с вином.

— Можете повернуться на бок? — спросил Джамал, вспомнив, что где-то слышал, что это правильное положение тела при рвоте. — Я вам помогу, если можете повернуться.

Старик послушался и повернулся на бок. Джамалу показалось, что так ему совсем неудобно и, может быть, лучше, если он будет лежать как прежде. Тут из магазина прибежали две продавщицы и за ними Лина. Они перевернули старика навзничь, потом приподняли ему голову и подсунули под нее сложенную спецовку. Изо рта по щеке у него текла кровь, а на виске был глубокий порез. Он смотрел на Джамала, глаза двигались

толчками. Когда приехала санитарная машина, один из фельдшеров понюхал рот старика — не пьян ли — и, повернувшись к коллеге, помотал головой. Они положили старика на носилки и надели ему кислородную маску.

Женщина-фельдшер оглянулась на Джамала и показала на фургон: «Вы поедете?» Джамал покачал головой — «Нет, не имею к нему отношения». И почувствовал себя предателем: как будто бросил человека. Когда машина уехала, две продавщицы принялись собирать рассыпавшиеся покупки и складывать в пакет. Лина подобрала кепку и сказала им, что может отнести ему покупки. Он их сосед. Женщины нерешительно переглянулись.

— Пожалуй, пока оставим их у себя, — нахмурясь, сказала одна.

Лина пожала плечами, и та кивнула.

— Так будет лучше, — сказала она.

Они молча пошли домой, а по дороге Лина вспомнила, что кепка старика всё еще у нее. С улыбкой показала ее Джамалу.

— Забыла отдать.

Кепка была старая, лента внутри вытерта. Джамал не раз видел ее на старике. У отца была похожая. Отправляясь на прогулку, он часто на-

девал ее — в качестве стильного украшения. Чей это наряд? Рабочего или помещика? На снимках он видел в кепке и тех и других. И как она оказывается на голове у иммигранта? Нехорошо, что он не поехал. Он подумал об упавшем старике и вспомнил, как отец свалился прямо на пороге. А если бы он не успел дойти и упал ничком на тротуаре где-то далеко от дома, а сосед, случайно проходивший мимо, захотел бы улизнуть и сказал, что не знает его? Когда коснулось его самого, Джамала, он повел себя не лучше, чем этот воображаемый позорный сосед. Он живет здесь уже столько месяцев и ни разу не заговорил со стариком, ни разу не поздоровался. Видел, как его изводят ребята, и даже не подумал, как бы выразить ему сочувствие.

— Отнесем ему кепку, когда его привезут, — сказал он.

Санитарная машина привезла соседа на следующее утро. Лина увидела ее, позвала Джамала, и они наблюдали из окна спальни, как санитар взял их соседа под руку и повел к дому. Старик остановился, мягко высвободил руку и что-то сказал сопровождающему. Они увидели, что он улыбнулся и медленно, неуверенно пошел дальше, санитар — в полушаге за ним. Санитарная

машина постояла еще несколько минут, и Лина отнеслась к этому одобрительно — что не высадили и сразу не умчались. Джамал подумал, что сейчас и другие люди стоят у окон и смотрят на соседа, привезенного санитарной машиной. Никто не вышел осведомиться о его самочувствии или предложить помощь. Так же, как они.

Джамал сказал:

— Шел нетвердо, да? Пойти предложить ему помощь, если ему что-то нужно? Принести ему что-нибудь? У нас что-то есть? Может, фруктов — кажется, он любит апельсины. И кепку отдать: вдруг он завтра утром захочет прогуляться.

— Пусть немного обвыкнется, — сказала Лина. — А мы зайдем попозже.

— Завтра мне ехать в Норидж, так что надо зайти сегодня, — сказал Джамал, а Лина сделала несчастное лицо в ответ на слова об отъезде.

Ближе к вечеру они навестили соседа. На двери висел большой латунный молоток с головкой в форме многолепесткового цветка — то ли чертополоха, то ли маргаритки. Джамал стукнул дважды. Какое-то движение в передней, потом дверь открылась, и перед ними предстал человек. Одна сторона лица и нижняя губа у него посинели и распухли, и под левым виском была

большая марлевая наклейка. Он смотрел на них спокойно, без удивления, и Джамал подумал, что он заметил их еще перед дверью и успел внутренне приготовиться. На нем были рубашка в клетку и вельветовые брюки, как в тот раз, когда они впервые увидели его в саду, а теперь, вблизи, Джамал поразился, до чего он худой. Взгляд его серых глаз был неподвижен и неприветлив.

— Мы ваши соседи, — сказал Джамал, показав на их дом, и старик кивнул.

— Вы обронили кепку, — сказала Лина и шагнула к нему.

Он улыбнулся и сделал шаг навстречу.

— Мы вчера были там, когда вы упали, и увидели, что кепка осталась лежать…

— Так это были вы, — сказал он с улыбкой. Но тут же сморщился и приложил ладонь к щеке — распухшая губа заболела от улыбки. — Извините, пожалуйста, — сказал он и подождал, когда боль утихнет. Потом улыбнулся, уже осторожно и с извиняющимся видом. — Я плохо соображал, но ваше лицо теперь вспомнил. Спасибо, что пришли на помощь.

— Как вы себя чувствуете? — спросила Лина. — Мы просто хотели сказать, что, если вам что-то понадобится, будем рады помочь. Меня зовут Ли-

на, а это Джамал. Мы принесли вам апельсинов. Вам что-нибудь нужно? Еда? Лекарства?

— Вы очень добры, — сказал он с удивленной улыбкой на разбитом лице. — Спасибо, Лина и Джамал. У меня всё есть. Это был легкий обморок, но ничего серьезного — просто старческая немощь. Спасибо, всё у меня есть, а завтра придет проверить меня медсестра, я в хороших руках. Заходите как-нибудь, выпьем чаю, поговорим не торопясь.

— Было бы мило, — ответила Лина.

— Сейчас не будем вам докучать. Вам надо отдохнуть после приступа, — сказал Джамал. — Но если что — мы в соседнем доме.

— У меня всё хорошо, спасибо, Джамал.

Джамал заметил, что он не назвался и не подал руку на прощание. Нелюбезен или просто стесняется? Улыбался дружелюбно. Речь образованного человека: «просто старческая немощь». Так он сказал Лине по дороге домой.

— Наверное, не совсем еще пришел в себя, — сказала Лина. — Ушибы страшновато выглядят. Но вид, мне показалось, бодрый, а мы ведь нагрянули внезапно.

В тот вечер Лина рассказывала о своем брате Марко, о том, как каждое лето родители вывозили

их в Италию, в Верону, на побывку к отцовской родне. Они хотели, чтобы дети разговаривали по-итальянски, и в детстве дома только по-итальянски и разговаривали.

— А сейчас можешь говорить? — спросил Джамал.

— Да, нас действительно научили. Только имя свое терпеть не могу. Не понимаю, почему меня назвали Магдалиной. Почему не Сюзанной, не Марией или еще как-то? Папу зовут Карло, мама — Анна, Марко — Марко. Почему я должна быть Магдалиной?

— Лина — красивое имя, — сказал Джамал.

Анна приехала в пятницу днем.

— А вот и Дельфиниум! — сказал отец и радостно улыбнулся.

Она громко рассмеялась, услышав свое старое прозвище. Когда они были моложе, он придумывал им неожиданные прозвища, иногда, ей казалось, бессмысленные. Дельфиниум продержалось дольше всех, а Джамалу приходилось терпеть Большую Океанскую Креветку или Зиккурат. Она обрадовалась, что он помнит прозвище, что он улыбается.

Она сидела с ним в саду, задавала обычные вопросы, и он коротко отвечал. Никаких призна-

ков того, что он склонен кричать, она не видела и подумала, трудно ли родителям справляться самим. Он пожаловался на слабость. До чего дожил. Анне казалось, что он стал выглядеть лучше; может быть, немного беспокоен — слишком старается показать, что всё у него хорошо. Мать принесла чай, и они сидели на ветерке, под августовским солнцем, и Анна слушала последние новости о ходе его лечения. Мариам не обсуждала с доктором прописанные лекарства, она просто уменьшила дозы, особенно снотворных. Она видела, что лечение помогает, что он стал самостоятельнее кое в чем, сосредоточеннее, что может читать. Его меньше мучила тошнота. Отметив всё это, она призналась доктору Мендес в своей самодеятельности. Доктор выговаривать ей не стала, но была недовольна. «Это не то, что доктор прописал, — сказала она, — но давайте попробуем по-вашему». Она пошутила, объяснила Мариам, к чему обычно не склонна. «Он отдохнул от работы», — сказала доктор и сократила дозы, как будто это был ее план с самого начала. Отец сидел, улыбался им и грозил жене пальцем за ее своеволие. «Теперь возомнила, что она врач», — сказал он.

Из окна спальни наверху Анна наблюдала за

отцом, сидящим в одиночестве на террасе. Он завороженно смотрел, как падают под летним солнцем листья. Он сидел так тихо и неподвижно, что, казалось ей, мог расслышать, как строит гнездо воробей. Было непонятно, почему так взволнованно говорила мать по телефону несколько дней назад, — может быть, у них была ссора, но уже забылась. Позже они пошли пройтись, пока не стемнело, а потом мать отвела его наверх делать гимнастику. Не было ни криков, ни шепотов, ни подозрительных взглядов. Он был слаб, несколько нервен, даже слегка раздражителен, но добродушен и слушал их с улыбкой. После обеда по телевизору были новости — всё об авианалетах, взрывах, искалеченных детях. Он слушал молча, откинувшись в кресле, чтобы умерить изжогу, донимавшую его последнее время. Анна и Мариам поглядывали на него, ожидая реакции, но он смотрел устало, молча, глаза ничего не выражали. Он и хотел бы дождаться Джамала, приезжавшего ночным поездом, но день выдался долгим для него, он устал, и его клонило в сон.

Когда он лег, Анна рассказала о своей работе: она почасовик, работает на подмене, но теперь ей предложили постоянную должность. Она ничего не сказала о Нике — он так и не позвонил

утром до ее отъезда, и она не звонила ему, чтобы узнать, вернулся ли домой. Она видела, что мать на самом деле не очень интересуют ее рабочие дела, но продолжала рассказывать. Возможно, мысли матери были заняты ожиданием Джамала, или тем, что беспокоило ее несколько дней назад, или возможной тогда ссорой, которую Анна сочла исчерпанной. Надо будет как-то ее об этом расспросить. Лицо у матери было задумчиво-хмурым, и, говоря с ней, Анна думала, как несвойственно ей это выражение. Когда мать поворачивалась к ней, она ожидала увидеть на ее лице привычное, понятное выражение: озабоченное, довольное или решительное, в зависимости от ситуации, а не этот отсутствующий, внутрь устремленный взгляд, полный необъяснимой печали. Теперь она поняла, каких усилий стоило матери всегда сохранять на лице внимательное, сосредоточенное выражение.

Анна искала способ перевести разговор на саму мать, как вдруг Мариам посмотрела ей прямо в глаза и задержала взгляд. Анна замолчала и ждала, напрягшись под этим непривычно пристальным взглядом. Мариам заговорила, то глядя на Анну, то отворачиваясь в сторону. Вскоре она полностью погрузилась в свой рас-

сказ, отдавшись вновь переживаемым чувствам. Анна понимала, что надо молчать, не задавать вопросов. «Вот о чем они говорили, — думала Анна, — о каких-то гадких своих тайнах. Вот почему столько напряжения в их долгих взглядах». Она пожалела, что нет Джамала, ее уже мутило от мысли о том, что́ ей предстоит услышать. А мать продолжала говорить — но вовсе не о том, чего ожидала Анна.

— Я бросила школу в шестнадцать лет, — рассказывала мать, — и ничего в жизни не понимала.

У нее хватило ума понять, что она никчемная. Тогда в школе это слово было в ходу. Стоило ли ей остаться? Нет, ей — нет. Не было смысла — она слишком отстала. Она жила тогда с Феруз и Виджеем. Когда поселилась у них, она захотела стать сестрой в психиатрической больнице, как Феруз. И Феруз радовалась, слыша это, смеялась и говорила, что, раз она так хочет, ничто не может ей помешать. Феруз была очень добра к ней, такой доброты она ни от кого в жизни не видела. Феруз всё время с ней разговаривала, обнимала ее, целовала, подбадривала: делай уроки, догоняй. До того как ее взяли в семью, Мариам поучилась в нескольких школах, но даже с помо-

щью Феруз обосноваться в школе не могла. Время было упущено. Постоянные переходы из школы в школу — не самое полезное для ребенка, она сильно отстала и уже не старалась нагнать. Оно того не стоило. «Я не очень-то способная», — думала она; другая, более старательная, как-нибудь справилась бы, нагнала. Нашла бы удовольствие в борьбе с трудностями. Но слишком много тревог подсунула ей жизнь. Она не могла обрести спокойствие для того, чтобы сосредоточиться на учении.

Феруз рассказывала ей о том, как могла бы сложиться ее жизнь, если бы она трудилась по-настоящему. Феруз была добрая женщина, но жизнь оказалась для всех них слишком сложной, никому не сделала поблажки. «В этой стране столько возможностей, — повторяла Феруз. — Если усердно работаешь, можешь пробиться в жизни, даже если она была неприветлива вначале. Возьми Виджея. После несчастного случая все думали, он годится только на то, чтобы плести корзины или побираться на улице, всю жизнь будет для всех обузой. Но он упрашивал, добивался того, чтобы остаться в школе, потом нашел черную работу в городе, ходил в вечернюю школу и выучился на электрика. Потом приехавший на время друг

сказал ему, что здесь, в Англии, есть работа; он накопил и занял денег, и приехал сюда. Посмотри на него — если бы Виджей это услышал, стал бы паясничать, показывать бицепсы, как какой-нибудь чемпион в телевизоре, — он трудился и был вознагражден».

Это был вечный совет Виджея. Трудись, трудись, нет ничего невозможного. Он был настойчив и решителен — не как герой, а как маленький упрямый человек, знающий себе цену. Он всегда был при деле — не вынужденно, по необходимости, а потому, что для него всегда имелось какое-то дело. Он уходил на работу в семь часов утра и возвращался в семь вечера. После ужина садился за столик в углу и занимался. Поступил на заочные бухгалтерские курсы, рассчитывал после обучения получить работу в бухгалтерии и развиваться дальше. Вот каким был Виджей — молчаливым и усердным во всем, даже в еде. Может быть, отвлекался только на крикет, когда играла Индия, а в остальном тихо занимался своим делом — и пусть там мир идет своей дорогой.

Когда она была подростком, ей казалось странным, что человек так погружен в работу, порабощен желанием маленьких успехов или богатства. Такая жизнь в сплошной работе представлялась

ей безрадостной. Убогая жизнь, духовно убогая, без интереса к кому-нибудь, кроме себя. Но Феруз это как будто не смущало. Когда у нее было желание, она заговаривала с ним во время еды или его занятий. Иногда он отвечал, а иногда продолжал заниматься своим делом. Обоих это устраивало. Она тоже работала не покладая рук: стряпала, убирала, приносила, уносила, так чтобы Виджей мог оставаться чудом упорства. Феруз нравилось так говорить о нем: «чудо упорства». Она услышала это по радио: «Леди такая-то — чудо упорства в кампании по защите прав детей». Ей казалось это приятной характеристикой Виджея.

Снаружи остановилась машина. Анна услышала, как хлопнула дверь. Она поняла, что это приехал на такси Джамал, и поспешила к двери до того, как раздался звонок. Почему-то казалось важным успеть до звонка, до того, как всполошатся злые духи, заселившиеся в дом. Когда вошли в комнату, Мариам хотела было встать, но Джамал крепко обнял ее и усадил обратно. Анна что-то сказала ему. Он сел — нет, есть не хочет, не устал, доехал хорошо, извините, что так поздно. Да, и он рад ее видеть. Они замолчали, дожидаясь, когда мать продолжит рассказ.

— Мама, рассказывай, — сказала Анна.

— Я рассказывала Ханне про Феруз и Виджея, — начала Мариам, и почему-то ее взгляд остановился на фотографии Аббаса, которая стояла на полке с тех пор, как он заболел, и так и не переместилась наверх за эти месяцы. Тогда Мариам рассказывала Джамалу о начале их семейной жизни. — Всё усложнилось, когда я переехала к ним, по крайней мере вначале, и Феруз пришлось договариваться на работе.

Потом, когда они к ней привыкли — а она очень старалась, чтобы привыкли, — ей выдали ключ. Феруз приходила домой в шесть, и у Мариам был часок или два, чтобы посмотреть телевизор до ее прихода. Это было самое сладкое время — час или два после школы — спокойно посидеть наверху, никто тебя не дергает, смотреть на веселых ребят в телевизоре. Ей нравилось жить у них — своя комната, добрая, заботливая Феруз, житейские советы Виджея, когда он вспоминал о ней, и часы свободы, когда могла заниматься чем хочет. Тяга к одиночеству у девочки девяти лет может показаться странной, но слишком много было волнений и неразберихи в ее жизни, и эти часы после школы приносили покой, какого она и не ожидала. Она выключала телевизор загодя, до шести. Когда ей выдали ключ, Виджей

спросил, чем она занимается, придя из школы, и она ответила, что смотрит телевизор. Ему это не понравилось. Он нахмурился, грустно покачал головой и сказал, что ей надо нагонять в школе, а не тратить время за телевизором. После этого, придя с работы, он клал ладонь на телевизор — проверить, давно ли его включали. Потом то же самое стала делать Феруз, придя домой, и в доказательство того, что она послушна и трудолюбива, Мариам выключала телевизор заранее и садилась с книгой, или цветными карандашами, или чем-нибудь подобным. Она пыталась делать уроки, но голова была занята другим.

С возрастом она начала хлопотать по хозяйству. Началось это постепенно. Когда Феруз приходила с работы, Мариам помогала ей на кухне. Феруз ставила ей табуретку, чтобы она могла дотянуться до кастрюль. Феруз учила ее, как управляться на кухне, — это каждая женщина должна уметь, даже если ей потом посчастливится выйти замуж за принца. Феруз удивлялась тому, как быстро всё схватывает девочка, — а ведь совсем еще маленькая. Обе не знали еще, что это и уготовила ей судьба — жизнь среди кастрюль и сковородок. И так оно началось — с помощи на кухне. Потом Феруз стала оставлять ей задания на после школы:

почистить овощи, вымыть кастрюли, накрыть на стол. Потом — замесить тесто для чапати, поставить дал вариться, и в конце концов она сама стала готовить всю еду.

Они были бережливы и питались просто. Скудный был дом. Так они жили: копили на будущее. Придя с работы, Феруз заглядывала в мусорное ведро: не выбросила ли Мариам овощи, которые еще могут сгодиться. Но так было поначалу, когда она еще не была уверена в экономности Мариам.

Через год-другой — Мариам не помнила точно, потому что при такой жизни время течет иначе, — на нее легла и уборка, и стирка. Феруз уже не так часто заговаривала с ней о ее будущей профессии медсестры в психиатрии, но, придя домой и видя, что стираное сложено и убрано и стол накрыт к обеду, целовала ее. И Виджей бывал доволен, что она сидит с ними и приносит еду, когда что-нибудь понадобится, что рядом человек, нуждающийся в их доброте. Потому что относились к ней по-доброму и говорили ей об этом, говорили, от чего ее уберегли. А она еще не всегда понимала смысл их слов. Может быть, это и подвигло их взять ребенка — найти применение своей доброте, уберечь девочку от унизительной жизни. Внушить ей уважение к

жизни с трезвыми людьми, к честной работе. Поначалу Феруз смущала ее разговорами о семейной жизни.

Работа по дому была нетрудная. Она ей даже нравилась: готовить еду, потом убирать со стола, расставлять посуду по своим местам, протирать пол в кухне. Ощущалось это как достижение. Она может что-то сделать и осуществить к своему удовольствию. Даже Виджей не требовал от нее большего усердия — видел, как она старается. И в школе дела улучшались. Она училась уже в средней школе — шумной, многолюдной, где учителя и ученики не давали друг другу спуску. Она настолько отстала, что ее присоединили к тупым. Так они сами себя называли. Работой их не загружали. Некоторые учителя приносили им для чтения комиксы, позволяли играть на уроках в настольные игры. Она впервые стала получать хорошие отметки. У нее завелись новые подруги. Учитель, мистер Туэйт, был доволен ею, и ей нравились его уроки. У него была большая рыжая борода. И он единственный в школе звал ее Мариам, а не Мэри. Отвлекаясь от уроков, он рассказывал им невероятные истории — и детям хотелось, чтобы они продолжались без конца. Однажды он рассказал Мариам о происхождении

ее имени. Когда мусульмане захватили Мекку, рассказывал он, они пошли к Каабе, чтобы убрать всех идолов и картины, оставшиеся от язычников. «Ты знаешь, что такое Кааба? Там большой камень — все мусульмане поворачиваются к нему лицом, когда молятся. У мусульман только один бог, идолы других аравийских богов сделали место нечистым, и мусульмане их убрали. Но среди картин была маленькая икона Богородицы с младенцем, и Мухаммед, пророк мусульман, прикрыл ее ладонью и повелел все остальные закрасить. Имя Матери Спасителя любимо всеми народами», — сказал мистер Туэйт. Ему пришлось объяснять многие детали этой истории, чтобы она поняла, и спустя годы, когда поняла еще больше, ей хотелось узнать, что стало с той иконой.

Словом, после школы она шла домой и принималась за хозяйство. Закончив, отправлялась в свою комнату и слушала музыку на кассетнике, который подарили ей на день рождения Феруз с Виджеем. Тогда она могла слушать музыку целый день.

Она говорила себе, что счастлива, но, конечно, это было не так. Никто в этом возрасте не счастлив: столько всякого с тобой происходит, уверенности в себе нет, боишься выглядеть

глупой. И она внушала себе, что несмотря на всё, из-за чего человек несчастлив в этом возрасте, она счастливая девочка. Хотелось бы быть поумнее, ожидать чего-то от будущего, как-то распорядиться своей жизнью — но несчастливой она не была. Она привыкла к осторожной жизни Виджея и Феруз, где всё подсчитывалось, даже ложки. Они были добрыми людьми, взяли ее к себе, заботились о ней. Она была им благодарна, работа по хозяйству ее не тяготила, а если и случалось такое, то редко. Она стала понимать, почему они так трудятся и так за всем следят. Они полны были решимости выстоять, не сдаться обстоятельствам — после того, как столько претерпели, прошли такой долгий путь. Она думала, что из-за этих усилий они и бывают порой мрачными.

Потом к ним приехал жить племянник Виджея. Ей тогда было шестнадцать лет, последний год в школе. Виджей работал бухгалтером в фирме, которой владели два брата-индийца родом из тех же краев, что он. Он вел бухгалтерию нескольких маленьких предприятий, входивших в фирму. На работу он ходил в костюме, и видно было, что считает себя человеком, кое-чего достигшим в жизни. Да, он достиг, достиг, но это не мешало ему заниматься с прежним усердием, чтобы пе-

рейти на следующий уровень профессиональной квалификации. Племянник, которого Мариам было велено именовать кузеном, был сыном сестры Виджея. Виджей пригласил его и устроил в колледж в Эксетере — изучать бухгалтерию. Со стороны Виджея это был жест примирения с родней, но еще он подумывал о том, чтобы открыть собственную фирму, когда обучится племянник, — семейную бухгалтерскую фирму. И племянник переехал к ним жить.

Она не говорила о нем прежде, но с ним как-то было связано то, что с ней случилось, то, как она ушла от Феруз и Виджея. Им следовало знать об этом. Ну, не обязательно знать, однако это помогло бы им понять, как сложилось всё в дальнейшем. И она не хотела держать это в себе и дальше.

Племянник оказался старше, чем она думала, — лет двадцати трех. Приехав из аэропорта с Виджеем, он поздоровался по-индийски и без конца улыбался. Спать лег на стеганом одеяле на полу в гостиной — другого места для него не было, — но Виджей сказал, что это не страшно, индийцы могут спать где угодно, они привычны к трудностям. Поначалу никаких сложностей с ним не было. Утром он сворачивал свое стеганое

одеяло, выпивал чашку чая с ломтиком хлеба и отправлялся в колледж. Приходил только вечером к ужину. Весь день занимался в классах и в библиотеке, без перерыва на обед. Виджей очень одобрял его усердие. Она не думала, что он самостоятельно гуляет по городу; придя домой, разговаривал мало — большей частью с Виджеем. Он немного стеснялся своего английского — и не без оснований. Она по большей части не понимала его, и, даже когда догадывалась, слова выходили у него комом, как будто он говорил задом наперед. Потом он немного освоился, и Мариам, придя из школы, иногда заставала его дома. Он знал, что она не их дочь, даже не приемная, а так, найденыш, подобранная его родственниками, и прислуга за всё, Мариам Риггс. Все разговоры о «дочери» со временем забылись — вспоминались, лишь когда ее отчитывали. Она долго не могла взять это в толк, но, когда увидела, как обходится Виджей с племянником, кое-что про семью поняла — про ответственность, любовь, какую-то гордость, — поняла, что у Феруз и Виджея по отношению к ней таких чувств нет.

Племянник стал донимать Мариам. Когда она возвращалась из школы, а племянник был дома, он ходил за ней по пятам, говорил слова, не всегда

ей понятные, но смысл их она могла угадать по жестам, которыми они сопровождались. Если Феруз и Виджей были дома, его взгляд следовал за ней повсюду и словно притрагивался к ней. Из споров между Феруз и Виджеем можно было понять, что ему не нравится спать на полу, тогда как у нее отдельная спальня. Динешу надо учиться и нормально отдыхать, чтобы усваивать то, что преподают в колледже. Если не может спать — не может учиться. Динеш — так его звали. Она долго не могла произносить его имя вслух. Феруз спорила с Виджеем, говорила: «Мариам нам как дочь». Слыша это, Мариам улыбалась. Виджей говорил: «Да, конечно, и она поймет, что это нужно для блага всей семьи». Мариам понимала, что рано или поздно ей придется уступить комнату, и тогда ей негде будет спрятаться от Динеша, оставшись с ним наедине в квартире.

Начались трения с Феруз: Мариам старалась прийти попозже, чтобы не быть с ним наедине, и не успевала делать все работы по дому как следует. Они решили, что она распустилась, околачивается на улице с ребятами. «В этой стране девушка рано или поздно испортится, как за ней ни следи», — говорил Виджей. Она хотела поговорить с Феруз: кузен Динеш стал угрозой

— неизвестно, что он способен был выкинуть. И когда Феруз очередной раз рассердилась на нее за то, что пренебрегает своими обязанностями и долго болтается на улице, — а ведь они все эти годы относились к ней как к родной дочери, — Мариам совсем расстроилась. Она сказала, что кузен Динеш досаждает ей и поэтому она старается не быть дома. «Как досаждает?» — спросила Феруз. «Ты знаешь как», — сказала Мариам. Феруз с гримасой отвращения ударила ее по лицу. Вот что она сделала — ударила по щеке, первый раз за все годы. Потом сказала ей, что она испорченная девчонка, и чтобы впредь такого не говорила. Мариам не могла рассказать Феруз, что он приходит в ее комнату и роется в ее вещах. Не могла рассказать, что он ходит за ней по дому и не дает пройти. Не могла рассказать, что он трогает ее за талию и за бёдра и что однажды сделает с ней кое-что похуже. Но после того, как Феруз ударила ее… Эта пощечина была для нее потрясением. После этого она не могла рассказать Феруз, что происходит и чего она боится.

Кончились экзамены в школе, и ей велели освободить комнату, чтобы у Динеша было нормальное место для занятий. Племянника как будто произвели в аристократы. Он приказывал

Мариам принести попить, отчитывал ее за плохо выглаженную одежду, жаловался на еду. Даже к Феруз стал относиться по-другому — улыбался ей как глупой, бывало, не слушал ее, когда она с ним заговаривала. В то лето после окончания школы Мариам устроилась на работу в кафе и думала, что сможет заработать и снять себе отдельное жилье. Но денег не хватало, работа была однообразная, хотя новые подруги ей нравились. Позже она нашла работу на фабрике — тут-то и познакомилась с Аббасом. Иногда заходила в кафе выпить чаю и поговорить с прежними подругами — там ее всегда угощали пирожным. Там она и встретилась второй раз с Аббасом. Он посмотрел она нее и узнал. Поколебавшись, подошел к ней и поздоровался. Она уже не помнила, что он сказал, но, помешкав, он подсел к ней, и они поболтали. Потом он попрощался и сказал: «Как-нибудь еще увидимся».

В тот вечер кузен Динеш пришел на кухню, обхватил ее, стал щупать и пытался поцеловать. Всё время что-то говорил: «Ты приятно пахнешь, ты вся светишься». Он был меньше ее ростом, но крепко сложен. Он был старше ее. Она стукнула его ложкой, которой размешивала суп, но он только засмеялся и не отпустил ее. В конце

концов она его отпихнула, но он стоял перед ней, смеялся и грозил пальцем, как будто всё это было в шутку, — лапал служанку для потехи. Так оно и пошло: оставшись с ней наедине, он принимался за свое и с каждым разом всё грубее. Она боролась как могла — била ложками, скалкой, но знала, что однажды, набравшись храбрости, он добьется своего; ей было тошно и страшно от этой мысли. Она думала, что Феруз об этом знает. Феруз смотрела она нее так, как будто всё понимала.

Потом они узнали про Аббаса. Она назвала его имя мимоходом, сказала, что знакомый по фабрике, но, видимо, ее выдал тон. Они допрашивали ее, и в конце концов она была вынуждена объяснить. Шум устроили невообразимый, как будто она совершила что-то непристойное. Это продолжалось два дня — с угрозами запереть ее в квартире, чтобы не могла с ним встречаться, вышвырнуть ее, если не подчинится. Кузен Динеш тоже поучаствовал. «Ты себя не уважаешь», — сказал он, кривя губу, как джинн в одном из индийских киножурналов, которые он обожал читать. В третий вечер, когда она пришла с работы, он притиснул ее к стене на кухне, натянул джемпер ей на лицо и утащил ее в свою комнату. Она сопротивлялась как могла, но он был сильнее

и повалил ее на кровать.

«Какая гадость! — думала Анна. — Зачем ты это нам рассказываешь? Почему сейчас? Не желаю слышать эти гнусности!»

— Пока он стаскивал с себя одежду, я вывернулась, убежала в комнату Феруз и Виджея и заперлась на засов, — рассказывала Мариам непривычно ровным голосом, стараясь, чтобы он звучал бесстрастно, несмотря на описываемый ужас. — Я сидела там, пока не пришла Феруз. И слышала, как кузен Динеш сразу набросился на нее с рассказом, как я разделась перед ним, а он стал меня стыдить, и я убежала в их комнату.

Они кричали на нее, угрожали, и она думала, что Виджей выгонит ее или запрет в погребе — если бы он у них был. «Эта порча у нее в крови», — сказал он. Феруз твердила, что если она не проявит уважения, им придется выгнать ее — после всего доброго, что они для нее сделали. Это было в пятницу вечером, она хорошо помнит. Аббас предлагал накануне сходить в кино, но она, конечно, не смогла. А утром, когда все спали, она собрала одежду в хозяйственную сумку и пошла к нему, к Аббасу, и они сбежали из города.

Аббас сказал: «Давай уедем отсюда», и она подумала: правильно. Она не рассказала ему, что ее

пытались изнасиловать. Она была рада оказаться подальше от всего этого безобразия, удрать, оставить в прошлом. Она не знала, есть ли у нее какие-то права или ее могут насильно вернуть и снова сделать кухонной девкой. Поэтому, когда Аббас сказал: «*Yallah*, давай уедем отсюда», она сказала: «Ура».

— Раньше я вам не рассказывала о кузене, — сказала Мариам. — И не понимаю, почему мне показалось важным рассказать сейчас. Просто мужчина пытался мною овладеть — столько лет прошло, должна была бы забыть об этом, как о старом шраме, постепенно исчезающем. Но я до сих пор чувствую унижение, несправедливость. Вначале даже Аббасу не могла рассказать, но теперь мне кажется важным рассказать вам. Прежде мне казалось неправильным рассказывать вам, чтоб вы не думали так о матери и о том, под какой угрозой она жила. Считала неправильным об этом рассказывать вам, совсем молодым, что мир небезопасен. Но теперь хочу, чтобы вы знали, чтобы не думали, будто скрываю от вас что-то позорное. Я хотела вам объяснить, почему сбежала от Феруз и Виджея и почему так долго была непереносима мысль о том, чтобы связаться с ними.

— Всё хорошо, мама, — сказала Анна. Ей хоте-

лось прекратить разговор, не слышать больше рассказов об уродливой жизни. — Всё хорошо. Это было давно. Перестань из-за этого мучиться.

Мариам пристально посмотрела на дочь — ей понятно было ее желание прекратить этот разговор.

— Потому еще, что я услышала от Аббаса такое, о чем не подозревала. Я поняла, как тяжело жить с этим наедине, как это отравляет жизнь.

— Господи, — сказала Анна. — Что он тебе наговорил?

Мариам посмотрела на них, подбирая слова, и сказала:

— У него есть другая жена. Он оставил ее с ребенком в Занзибаре, много лет назад.

Джамал вздохнул и откинулся на спинку стула. Анна гневно смотрела на мать.

— Это невыносимо! — с гневом сказала она. — Не выношу эти ваши гнусные иммигрантские трагедии — слышать не могу! Это тиранство ваших уродливых жизней. С меня хватит. Я уезжаю.

— Замолчи, Ханна! — оборвал ее Джамал. — Дай маме сказать.

— Меня зовут Анной, кретин! — сказала Анна, но осталась сидеть.

И тогда коротко и прямо, как перед этим, Мариам рассказала, как сбежал Аббас, решив, что ребенок не от него, и с тех пор никому не рассказывал о своем побеге. «Сорок лет он жил в этом позоре, — сказала Мариам, — не в силах никому признаться. Теперь он хочет говорить — потому что ждет смерти. Пусть сам вам расскажет».

— Не хочу этого слышать, — сказала Анна. — Знать ничего не хочу! Я уезжаю. Сейчас вызову такси и первым же поездом в Лондон. Или куда угодно.

Джамал вышел из комнаты и поднялся на второй этаж. На площадке было темно, но он и без света знал дорогу. Он открыл дверь родительской спальни и тихо вошел. Отдышался, стоя в темноте, и понял, что отец не спит.

— Ба, — сказал он.

— Джамал, — отозвался отец.

Потом он зашептал. Джамал подошел ближе, но оказалось, что он не понимает ни слова. Он сел в темноте на пол и слушал непонятную речь. Внизу на повышенных тонах говорила Анна.

— Твой Занзибар представляется мне чудесным местом, — сказал Джамал, но Аббас не отозвался.

Прошло, казалось, много времени, отец перестал шептать, и по его дыханию Джамал понял,

что подействовало снотворное. И внизу голоса смолкли. Он услышал, как за спиной у него тихо отворилась дверь, и при слабом свете с лестницы увидел, что это мать. Он вышел с ней из комнаты.

— Уснул, — сказал Джамал.

— Может быть, — отозвалась Мариам. — Иногда он только притворяется.

— Он долго что-то шептал.

— Знаю, — сказала она. — Иногда целыми днями шепчет. Когда расстроен, забывается. И шепчет на своем языке, словно забыл английский. Думаю, он понял, что я рассказывала вам, как он сбежал, и сейчас сделал вид, что спит.

— Ханна уехала? — спросил он.

— Нет, она внизу, — сказала Мариам, улыбнувшись в потемках. — Нашла бутылку вина в кухонном шкафу.

На другой день отец не встал с кровати. Джамал пошел проведать его; Аббас спокойно на него посмотрел и зашептал. Джамал придвинул стул поближе и сел рядом. Аббас бормотал час или больше. В конце концов Джамал улыбнулся, поцеловал ему руку и спустился в гостиную. Мариам пересказала им еще кое-что из рассказов отца, но дело шло к вечеру, и она сказала, что смысла

сидеть здесь дальше нет. Он ушел в свою страну сновидений. Когда вернется оттуда, включу магнитофон, и пусть рассказывает дальше. Так ему теперь больше нравится. Сидит там и говорит что вздумается — и не надо никому смотреть в глаза. Она не хочет его еще больше расстраивать, несчастного двоеженца. Это слово резануло Джамала, но Мариам сказала, что нарочно его произносит, чтобы привыкнуть, чтобы ей было не так больно, как вначале.

— Не так уж странно, что человек заводит другую семью в таких ситуациях, — сказал Джамал, когда они ехали на поезде в Лондон. — Сама подумай. Такое нетрудно себе представить.

— Под «ситуациями» ты подразумеваешь иммигрантов и беженцев, — сказала Анна, всё еще кипя от возмущения.

Джамал улыбнулся.

— Последнее время ты прямо смакуешь это слово, — сказал он. — «Гнусные иммигрантские трагедии», и никак иначе.

— Просто истории у них жалкие и некрасивые, — сказала Анна. — Отец у меня двоеженец, а мать — подкидыш. Представляешь себе, чтобы ты кому-то поведал об этом и не выглядел персонажем комической мелодрамы? Конечно,

иммигранты-двоеженцы не такая уж редкость, а подкидыши в пятидесятых годах были на каждом шагу. Обычное дело. Мы должны проявить понимание и не поднимать вокруг этого шум. Это ты хочешь сказать? Сказал бы это отцу, чтобы он не думал, что сделал всех несчастными, молча таская на себе эту ношу. Он неправильно поступил, что не признался нам давным-давно. И зачем она сейчас нам рассказывает, что ее изнасиловал в шестнадцать лет какой-то подлый парень-индиец? Не могла держать это про себя?

— Не совсем изнасиловал, — поправил ее Джамал. — А нам рассказала потому, что тяжело носить это в себе. Наверное.

Анна помолчала и заговорила снова, запинаясь, начиная сызнова, и постепенно совсем умолкла, глядя в окно на проносящуюся местность. Джамал несколько раз подавлял желание заговорить, возразить, объяснить, что мама рассказывала им не просто о попытке изнасилования. Она рассказывала о том, как хорошо относились к ней те люди, а потом ранили своей черствостью и несправедливостью, и рассказывала о своем чувстве вины из-за того, что не ценила их доброту и не сумела отблагодарить за нее. Она рассказывала о том, как подавила в себе чувство униженности и не

желала испытывать его впредь. Он не протестовал, не защищал мать, просто сидел напротив Ханны и давал ей высказаться. «Есть в ней жестокая жилка», — думал он, и думал не в первый раз. Она бывала недоброжелательной, когда от недоброжелательства не было никакого толку, когда оно было просто игрой ее остроумия, и она говорила обиженным тоном, как будто всё вокруг делалось так, чтобы огорчить и рассердить ее. Это отвечало ее представлению о себе как о человеке, который не потерпит никакого вздора, который выскажется прямо, не прячась за вежливостью и сантиментами.

Он рассказал ей о Лине и увидел, что в глазах у нее зажегся интерес. Он рассказывал, чтобы развлечь, — как он влюбился тайно, как немел от обожания в ее присутствии, как удивлен был поцелуями после вечеринки и не знал, что делать дальше. Ханна качала головой, жалея его за неловкость. Он рассказал о ее любовнике Ронни, об открытке, о том, как она вернулась из отпуска на Шенноне и взяла инициативу на себя. Рассказывал легкомысленным тоном, как она любила. Ханне понравилась история с открыткой.

— Какой же ты наивный! — сказала Ханна. — Она чуть ли не рисковала жизнью с этим

накачанным болваном, пока ты не сообразил, что она хочет тебя.

— Я дурак, — согласился он. — Но не будем преувеличивать. Как это она рисковала жизнью?

Анна отмела покушение Марко на самоубийство.

— Эксгибиционистская выходка, — сказала она. — Он собирался выскочить из машины в последний момент. Просто хотел до смерти напугать своих родителей.

Джамал заметил, что она слегка нахмурилась, услышав, что отец Лины итальянец, — очередная иммигрантская история, — но промолчала. Когда он закончил рассказ, вынужденно сокращенный, повисло молчание, и лицо у нее сделалось мрачным. Уже на окраине Лондона она стала рассказывать, как обстоят у нее дела с Ником.

— Думаю, с кем-то спит, — сказала она, — а то и с несколькими. Или станет спать, раньше или позже.

Джамал молча слушал подробный рассказ о том, как она несчастлива с Ником, и о том, что может ждать ее впереди. Подробности его удивили. Прежде она не рассказывала ему такое о Нике. Джамал думал, что отношения у них надолго, и давно приучил себя держать свои соображения

при себе. Он не понимал, как она может мириться с самомнением Ника, с его рисовкой и претензиями всезнайки. И сейчас, слушая рассказ сестры о крахе ее любви к пустозвону, он жалел, что давно разучился говорить с ней по душам. Он слушал ее, смотрел, как она рассеянно поглаживает свой мобильник, и не мог найти ободряющих слов, так сейчас необходимых.

Когда поезд остановился на станции Ливерпуль-стрит, она сказала:

— Позвоню-ка нашему вождю. Не пропадай, Красавец.

Они расстались на кольцевой в метро: она поехала на станцию «Виктория», а он на «Кингс-Кросс». В вагоне он опять думал об отце, о тайне, которую тот хранил всю жизнь, а теперь вывалил на них, и о матери, об огорчении, которое отец причинил ей под конец жизни. Он думал о том, что рассказала им мать, о женщине, на которой он женился и решил, что обманут; о том, как он плакал, рассказывая о том времени, о тех событиях. «Что толку, — сказала она. — Никуда уже от этого не деться. И поздно плакать. Ничего теперь не поделаешь. Что толку от слез. Он должен был рассказать об этом много лет назад».

Джамал пожалел, что не остался с ними еще на

несколько дней.

4. Возвращение

Домой Анна добралась в сумерках. Ник смотрел по телевизору футбол, вечернюю трансляцию. С Ливерпул-стрит она ему позвонила — сказать, на каком поезде едет и что с вокзала доберется сама. Возьмет такси. Раньше Ник возразил бы: «Глупости, я тебя встречу». «Не нагнетай, — велела она себе, — не забивай голову такими пустяками». Ник встал ей навстречу, обнял и долго не отпускал — вид у него был встревоженный.

— Как прошло, ужасно, да? Всё в порядке? — заботливо спросил он и потянул ее к дивану.

Глядя на то, как он беспокоится и суетится, она улыбнулась и чмокнула его в губы.

— Нет, совсем не в порядке, — сказала она, позволяя себя усадить. — На Ливерпул-стрит я встретила двух женщин — мать, наверное, и дочь. Вокзал громадный, и они стоят там такие безнадежно толстые, такие потерянные, жалкие. Больно смотреть. Чернокожие. Говорят между собой на каком-то неведомом языке, испуганно озираются. По-английски, похоже, не умеют даже читать.

— А потом? — спросил Ник, потому что она замолчала.

— А потом ничего. Я пошла на поезд, — сказала она. — Наверное, они беженки. Возможно, стоило предложить им помощь, но у них был такой отталкивающий вид… Беспомощные, безобразные — просто кошмар! Там, откуда они приехали, действительно всё настолько плохо?

— Вероятно, — тихо ответил он.

Она улыбнулась.

— Ты говоришь прямо как мой набожный брат.

— А дома как? — спросил он.

Она пожала плечами.

— А дома новости. Мать мою в шестнадцать лет изнасиловали, а отец — двоеженец.

— Что?! — подскочил он в кресле.

— А чего еще ждать от таких, как мы? — весело сказала она. — Как твоя конференция?

— Ой, нудятина! Всё те же и всё о том же. Я переночевал у Мэтта, и это был лучший момент за всю поездку. — Он расцвел улыбкой, и она ему не поверила.

— Доклад прошел хорошо? — спросила она.

— Думаю, да. — Он застенчиво нахмурился. — Похоже, раньше никто всерьез этой темой не

занимался, так что сообщение мое вызвало определенный интерес.

— Прости, но ты так и не сказал, о чем твой доклад, — сказала она. — Точнее, я вовремя не спросила, а перед отъездом ты слишком торопился.

— О деятельности ЦМО в Эритрее, — сказал он. — ЦМО — это Церковное миссионерское общество, было в девятнадцатом веке такое движение англиканских евангелистов. Ты знала, что Библия в пятом веке нашей эры была переведена на геэз? Я до недавнего времени даже не знал, что существовал такой язык — геэз. Что у него был свой алфавит, что на него переводили Библию.

— Да, ты рассказывал. Но на эту тему вроде бы готовила доклад твоя коллега Джулия? — спросила она.

— Верно, — сказал он. — Мы выступали вместе, Джулия и я. Она рассказывала о Библии на геэзе, я — о деятельности ЦМО. О том, что происходило у нас в Англии в пятом веке, ничего толком не известно, но до христианства и перевода Библии нам было далеко. Однако это не помешало нам в девятнадцатом веке притащиться к эритрейцам со своим улучшенным сортом христианства — а эти презренные негодники отказались. Пред-

почли свою допотопную версию вместо того, чтобы ухватиться за возможность и провести модернизацию.

«А потом ты трахал Джулию?»

— Что ты там говорила насчет того, что твой отец — двоеженец? — улыбнулся он, приглашая обратить сказанное об отце в шутку.

Пришлось рассказать о поездке в Норидж и о том, как она не сумела сдержаться и взорвалась, услышав от матери все эти кошмарные вещи. Вскоре она заметила, что он не слушает, а блуждает взглядом по ее лицу и телу. Она замолчала, и он пересел к ней на диван. Поцеловал ее, и она тут же прильнула к нему, со стоном лепеча что-то ему в губы. Ничего не могла с собой поделать. Да и не хотела. Отдаться удовольствию — всецело, до самозабвения — какое же это блаженство!

Потом, когда они лежали в темноте, она сказала:

— На обратном пути я ехала в поезде, и мне ужасно хотелось к тебе. Я даже так себе и сказала: хочу к нему. Сидела и представляла, как вернусь домой и ты станешь меня любить — вот так, как сейчас.

Он довольно хмыкнул и повернулся к ней. Провел рукой по ее животу, грудям. Но потом

дыхание его изменилось, и она поняла: засыпает. Он часто засыпал раньше нее, и она привыкла дожидаться этой его перемены дыхания, прежде чем перед отходом ко сну обратиться к себе. Почти всегда этот момент ее радовал — когда Ник засыпал, она испытывала что-то вроде облегчения. Словно ускользала из-под надзора, так ей часто казалось. И тогда в темноте она выпускала на волю себя потаенную, с честолюбивыми устремлениями и заветными желаниями. Иногда она просто смаковала счастливые моменты или в подробностях воображала свой будущий триумф — однажды она добьется грандиозного успеха и прославится. Когда его дыхание становилось глубоким и отстраненным, она задумчиво начинала выбирать сценарий на сегодня — так выбирают книгу или мелодию. Если ему случалось во сне шевельнуться или заворочаться, она с раздражением выжидала, когда он затихнет и можно будет вернуться к своим тайным сюжетам.

Она всегда плохо засыпала, и прежде ей приходилось часами лежать без сна в темноте — родители строго следили, чтобы свет был погашен вовремя. Отец тогда был таким заботливым, всякий раз перед сном осторожно приоткрывал дверь в ее спальню и тишайшим шепотом

спрашивал, спит ли она. Она не отвечала, и он уходил, довольный, что его дочурка прилежно спит. Прекратили ее контролировать, когда она начала готовиться к экзаменам, и тогда можно стало читать часами напролет, пока хватит сил. Со временем эти бессонные часы превратились в удовольствие — она предавалась мечтам и в них отбрасывала свои несовершенства и достигала всех целей.

Мечтать она умела и сейчас, но теперь она лучше знала о своих недостатках, и погрузиться в некоторые из фантазий удавалось с трудом. Наверное, только неудачники вроде нее часами лежат в темноте, проживая вымышленную жизнь. А людям состоявшимся нет нужды воображать успех — и они засыпают сразу, как Ник после секса. Она стала вспоминать их недавний секс, движение за движением, и вновь прочувствовала каждое восхитительное прикосновение, каждый толчок Ника. Переспал он уже с Джулией или нет? Скорее всего, да. Не в обычае Ника долго себе в чем-нибудь отказывать. Но думать об этом и о том, к чему это может привести, не хотелось — по крайней мере, сейчас. Хотелось уснуть, а не захлебываться ощущением, что жизнь течет без ее ведома, — оно и так накатывало, стоило

зазеваться.

Чтобы успокоиться, она прочла про себя первую строфу из «Колыбельной» Одена: «Любовь моя, челом уснувшим тронь…»[3] А добравшись до конца, принялась за «Оду соловью»: «От боли сердце замереть готово, и разум — на пороге забытья…»[4] Первую строфу не сразу удалось вспомнить, и она повторяла ее, покуда строки словно не проступили перед ней на листе. То же самое проделала со второй строфой, мысленно их соединила и лишь затем перешла к третьей. Эту строфу она знала неплохо и разделалась с ней быстро — быстрее, чем хотелось бы. Продралась сквозь четвертую и, добравшись до «Цветы у ног ночною тьмой объяты…», уснула.

Той ночью ей снова приснился тот дом. Она шла по мощеной улице, плавно забирающей вверх. Впереди улица поворачивала направо, и на углу, возле небольшого кафе, стояли стулья и пара столиков. Пахло древесным дымом, доносились звуки аккордеона и приглушенные голоса. Позади, она знала, было море. А вокруг — люди, только никого из них не видно. Улица была знакомая,

---

[3] Примечания: 3
Уистен Хью Оден. Колыбельная. Пер. П. Грушко.

[4] Примечания: 4
Джон Китс. Ода соловью. Пер. Е. Витковского.

и она очень обрадовалась, что снова здесь очутилась, спустя столько лет. Она и не надеялась, что снова увидит эту улицу своей юности и что тут окажется так уютно и можно будет остаться, сколько душе пожелается. На повороте дорога стала у́же и сумрачнее, а справа показалась большая дверь — она была приоткрыта. Игнорируя все призывы и инстинкты своего фантомного двойника, она толкнула дверь и вошла. И очутилась на террасе с видом на море и городок, расположившийся вокруг залива. Вдруг рядом раздался тихий мужской голос, и, обернувшись, она увидела темнокожего парня — он сидел на табурете и что-то стирал в тазу. Рукава его свободной рубахи были закатаны, на голове — поношенная белая кепка из какого-то шелковистого материала. Он снова обратился к ней тем же мягким тоном, но слов она не разобрала. Внезапно ее кольнул страх, захотелось уйти. Судорожно вцепившись в ручку чемодана, который, оказывается, катила за собой, она попыталась выбраться наружу. Но вместо улицы очутилась в заброшенном доме из своего сна — тащила чемодан по стертым деревянным ступеням, трухлявым половицам, задыхаясь от паутины и неотступно пульсирующей тревоги. Чемодан становился всё тяжелее,

мешал пробираться по замусоренному полу, и всё равно она не решалась его бросить, хоть он был старый и потрепанный. Позже, в ранние часы перед рассветом, ей приснилось, что она скачет на лошади по красивой местности: пологие холмы, укромное пастбище и вдалеке — тени гор.

Сосед — выяснилось, его зовут Харун — пригласил Лину с Джамалом на чай. Они обнаружили в почтовом ящике открытку с приглашением. И, как было велено, явились в субботу ровно в четыре. Сосед открыл дверь — на нем были костюм и рубашка с широким открытым воротом. Костюм того же старомодного фасона, что и у Ба, только не такой ветхий. Синяки и отеки у него уже сошли, только на щеке и виске еще виднелись подсохшие ранки. Он явно обрадовался их приходу.

— Минута в минуту, — сказал Харун, протягивая руку Лине, потом Джамалу. — Прошу, входите. Я заехал в «Сейнсбери» поблагодарить сотрудников за то, что позаботились обо мне, когда я упал, а менеджер вспомнил, что мои покупки пропали. И взамен моих апельсинов и салата отрядил с одним из своих парней огромную коробку с консервами, овощами, фруктами, печеньем, пирожными, как будто в качестве компенсации. Это подарок от «Сейнсбери» для всех

нас. — Он широким жестом указал на кофейный столик, на котором стояли две тарелки — одна с печеньем, а другая с маленькими пирожными в разноцветной глазури.

Он ушел ставить чайник, Лина принялась со знанием дела изучать сладости, а Джамал огляделся. Кресла и диван были большие и старые, с вылинявшей цветочной обивкой и деревянными вставками на подлокотниках. Самое линялое, явно хозяйское, кресло стояло у окна; рядом на столике лежали очечник и книга. Обои были тоже в цветах и тоже блеклые, с побуревшим рисунком. У стены стоял небольшой телевизор, рядом — радио и аудиосистема. Всё старое, видавшее виды. Ковер стоптанный, местами протертый, неопределенного серого цвета — раньше он, наверное, был светло-зеленый или светло-голубой. Всё в комнате говорило о нищете или как минимум о бедности. У самой двери стояло бюро. На нем и на двух стенах помещались пожелтевшие от времени фотографии в рамках; всего их было три. На стенах висели групповые снимки, один сделан в студии, другой — в саду. На бюро стоял женский портрет.

Джамал подошел его рассмотреть. «Покойная жена», — решил он. Лицо у женщины было

умиротворенное, словно за миг до того, как был сделан снимок, она велела себе расслабиться. На губах играла кроткая полуулыбка, мягкая и терпеливая, в глазах тоже была смешинка, и казалось, не поспеши фотограф нажать на спуск, она бы широко улыбнулась прямо в камеру. На вид женщине было лет тридцать пять. Она сидела чуть боком, подавшись вперед, и, повернув голову влево, смотрела в объектив — классическая студийная поза.

На кухне щелкнул чайник, и Джамал поспешно вернулся на диван, не желая преждевременно обнаружить свое любопытство. По пути он мельком глянул на фотографии на стенах. На первом снимке было трое: женщины сидели за декоративным столиком, а мужчина стоял сзади. «Видимо, родные сёстры и брат», — подумал Джамал. Второй снимок запечатлел двух мужчин и подростка. Мужчины — дородные, в костюмах-тройках и шляпах. Мальчик, без пиджака, стоял между ними, рука одного из мужчин лежала у него на плече. Они, довольные, стояли в саду, и у мальчика была самая радостная улыбка. На заднем плане поблескивал пруд с каменной скамьей на берегу. Судя по фасонам, обе фотографии были сделаны в промежуток между войнами. Возмож-

но, это были родственники той женщины.

Джамал уселся рядом с Линой, она шепотом спросила: «Это жена Харуна?» Разлив чай, Харун завел разговор. Сделал два небольших глотка и поставил чашку на столик.

— Как вы, наверное, прочитали на открытке, меня зовут Харун, — продолжил он со свойственной ему неторопливостью.

Он замолчал, потом нерешительно, словно раздумывая, стоит ли это говорить, прибавил:

— Харун Шариф.

— Как вы себя чувствуете, мистер Шариф? — спросила Лина. — Надеюсь, медсестра приходит вас проведать.

Харун протестующе фыркнул:

— Тс-с, никаких мистеров, просто Харун. Медсестра приходила только раз, наутро, проверить, жив ли я, а поскольку я оказался жив, мне удалось убедить ее уйти и больше не приходить. Незачем тратить время на меня, когда столько других людей нуждаются в ее умениях. Я прекрасно себя чувствую, Лина, если не считать обычных болей и недомоганий и тогдашнего совершенно неожиданного падения.

— Старческая немощь, — сказала Лина.

— Именно, — рассмеялся Харун и в подтвержде-

ние своих слов кивнул. — Надеюсь, вы не будете против, если я спрошу: вы, вероятно, студенты? Что изучаете?

Не прошло и получаса, как Харун явственно вознамерился их спровадить. Предложил еще чаю, они отказались, и тогда он, помедлив, словно желая убедиться, что они не передумают, собрал чашки и блюдца и составил их на поднос. Снова сел в кресло, с улыбкой посмотрел на них с Линой, покосился на окно.

— Что ж, было очень славно, — сказал он после паузы и сделал вид, что собирается встать. — Нужно будет в скором будущем снова организовать чаепитие. Знаю, люди вы занятые, но, когда сумеете выкроить минутку, буду рад снова с вами поболтать.

— Не сказать, что мы отняли у него много времени, верно? — сказала Лина Джамалу, когда они шли домой.

О приглашении на чай к соседу они рассказали Лайзе и Джиму — те как раз вернулись из поездки в Берлин.

— Мы и двадцати минут там не пробыли, — пожаловалась Лина.

Джамал рассмеялся.

— Совсем как мой Ба, — сказал он. — Вот вам

чай, выпили — и спасибо, до свиданья. В конце он чуть не силой нас выгонял.

— И всё же он по-своему был весьма любезен, — подхватила шутку Лина. — Если не брать в расчет его манеру прощаться. Зато он предельно ясно выражает свои мысли. Такое вот своеобразное красноречие.

— Как думаете, кто он по профессии? — спросила Лайза. — Точнее, кем был? Ведь сейчас он, наверное, на пенсии?

Лина пожала плечами.

— Это Джамал там всё разнюхивал, как ищейка. Может, он успел найти какие-нибудь зацепки. Джамал, что за книга лежала у него на столике? Возможно, это нам о чем-нибудь скажет.

— «Опыты» Монтеня, — сказал Джамал и рассмеялся, когда они потрясенно замолчали. — Да не знаю я, какая там у него книга! Просто стало интересно, как вы отреагируете на то, что он читает Монтеня.

— Думаю, он писатель, — сказала Лина позже, когда они остались одни.

Джамал отнесся к этому скептически.

— Но ведь он так необычно говорит и столько знает об ирландской литературе.

Вечером, когда они уже легли, со стороны со-

седнего дома вновь раздались громкий стук и выкрики. Джамал вскочил и начал одеваться, но не успел обуться, как шум стих, повисла напряженная тишина, и тогда Лина окликнула его, и он лег обратно. Назавтра днем Джамал постучал в дверь Харуна.

— Я слышал выкрики и грохот вчера вечером, — сказал он, не входя в дом и оставаясь на тротуаре. — Надо было вызвать полицию.

— Я звонил в полицию, но они говорят, что ничего сделать не могут, — устало сказал Харун. — Это продолжается с тех пор, как умерла Пэт. При ней такого не было. Я видел этих молодых людей. По крайней мере, думаю, что это они, те самые юнцы, которых я встречаю на нашей улице. Не знаю, живут они здесь или просто приходят поозорничать, но я видел их компанию — они ухмылялись мне в лицо, когда я шел мимо. Думаю, это они приходят и устраивают тут весь этот балаган. Но послушайте, я это переживу. Им от своих выкриков наверняка еще страшнее. Я в жизни повидал всякого, и детишкам с их обзывалками меня не испугать.

Джамал так и слышал, как то же самое произносит отец. «Я? Да я этих детишек не боюсь. Я больше боюсь полиции». Только Джамал детишкам не

доверял и не считал, что тактика игнорирования их обезоружит. Жестокости в них не меньше, чем во взрослых. Вспомнить хотя бы африканские войны и зверские расправы, которые устраивали дети-солдаты. Но он ведь пришел к Харуну, чтобы выразить сочувствие, так что он не стал спорить и, немного помолчав, спросил:

— Вы читали Монтеня?

— Да, несколько лет назад, — удивленно ответил Харун. — И, признаться, не без удовольствия. А почему вы спрашиваете?

— Просто интересно. По радио недавно говорили о Монтене, обсуждали новое издание его «Опытов», — вывернулся Джамал. — Стало интересно, читали ли вы его. Я пока нет, но собираюсь.

— Вам несомненно понравится. Пишет он увлекательно и при этом мудро. Прочитав его в первый раз, я был потрясен. У него довольно неожиданный стиль — доступный, интеллигентный и откровенный разом, такого не ждешь от писателя другой эпохи и совершенно, казалось бы, другого мировоззрения. Входите, побеседуем о Монтене. — Харун шире распахнул дверь и отступил вглубь дома.

— Может, я сначала прочту, а потом уже побе-

седуем? — улыбнулся Джамал.

— Всё равно входите, не стоять же на пороге, словно чужие.

В комнате взгляд Джамала сразу приковал к себе портрет незнакомки на бюро, и он, недолго думая, спросил, не жена ли это Харуна, Пэт. Харун покачал головой и указал ему на кресло у окна.

— Я не знаю, кто эта женщина, — с улыбкой ответил он, ничуть не рассердившись на непосредственность Джамала. — Мы нашли эти фотографии в одном из кухонных ящиков, когда въехали сюда двадцать с лишним лет назад. Дом нам достался совершенно пустой. Мебель всю вывезли, полы были голые, лишь кое-где лежал линолеум, весь в дырах. Как будто в этом доме кто-то доживал свои последние дни. А потом, перед продажей, из дома всё вынесли его родственники или стряпчие. Подчистую, а фотографии в ящике остались. Пэт хотела их выбросить, но я не дал. А год-два назад повесил на стены.

Харун замолчал, словно всё было ясно и без дальнейших объяснений.

— Но почему вы повесили на стены фотографии незнакомых людей? Они ведь не имеют к вам отношения, — вежливо спросил Джамал.

— Кое-какое имеют, — столь же вежливо от-

ветил Харун. — Мне приятно думать, что они каким-то образом были связаны с этим домом. Вряд ли эти великолепные люди обитали в таком скромном жилище, но, возможно, они здесь бывали. Возможно, джентри с этих снимков приходились работодателями или, скажем, родственниками здешним жильцам, которые попали в затруднительную ситуацию и утратили прежнее положение в обществе. Занятно додумывать разные подробности и смотреть на этих людей, которые благосклонно взирают с фотографий на это пространство, которое теперь занимаю я. Я полюбил их; без их доброжелательного взгляда в моем обиталище было бы совсем уж пусто.

Джамал прикинул: если «год-два назад», то значит, эти фотографии появились, скорее всего, взамен прежних, например Пэт. Для чего нужны эти снимки-обманки — чтобы завуалировать реальность, подменить одно повествование другим? Но завуалировать для кого? Кто придет сюда и станет читать страницы его жизни?

— Вижу, фотографии крепко вас озадачили, Джамал, — сказал Харун. — Но они просто прихоть, не более. Иногда я себе представляю: вот пришел кто-то в гости и, думая, что фотографии

мои, просит о них рассказать. А я в ответ: да, снимки мои, только я позабыл, где они сделаны и кто эти люди. Вот будет потеха! Интересно, может ли и вправду наступить момент, когда воспоминания обратятся в ничто, когда посмотришь вокруг, а рассказать нечего. И кажется, что ты уже не здесь, среди этих безымянных, ни о чем тебе не говорящих предметов, ошметков твоей жизни, а что тебя больше нет.

— Репетируете небытие? — спросил Джамал.

— Нет, пытаюсь представить, каково это было бы, но с этим не спешу, — сказал Харун, явно наслаждаясь беседой. — Пока, по крайней мере. Не думаю, что эта забава с фотографиями свидетельствует о желании умереть. Мне горестно провожать каждый прошедший день, он для меня словно утрата. Не хотелось бы пока, чтобы дни мои окончились.

— И всё же я не понимаю. — Видя, что он улыбается, Джамал осмелел и решил кое-что прояснить. — Эта инсценировка с фотографиями — для чего она? К чему всё это?

— Понятия не имею, просто прихоть, — повторил Харун. — Пришла в голову идея, и стало любопытно, что́ в этих снимках увидят другие. Это как переодеться и неузнанным бродить по

городу, наблюдая за окружающими, за переменой их отношения к тебе. Средневековые правители, например, любили так развлекаться. Но гостей у меня не планировалось, смотреть инсценировку было некому, так что это и правда была игра с самим собой. Эта маленькая прихоть возникла по наитию, но раз уж мы так на ней сосредоточились, признаюсь: возможно, эти снимки еще и способ абстрагироваться.

— Пэт, — почти невольно вырвалось у Джамала.

— Да, Пэт, — ответил Харун и, отвернувшись, надолго уставился в окно.

Наверное, перед глазами у него сейчас воскресали ее образы. Затем Харун повернулся и кивнул с той кривоватой улыбкой, значение которой Джамал понемногу начинал понимать. Она выражала учтивый упрек, что-то вроде: «Я не готов сейчас об этом говорить» или, может, «Мы не настолько хорошо знакомы, чтобы это обсуждать». Еще один старикан, трясущийся над своими воспоминаниями. На ум пришел Ба. В Харуне многое наводило на мысли о Ба, о том, каким он мог бы быть.

— Мне, наверное, лучше уйти, — сказал Джамал. — Простите, если я был назойлив, но я очень

благодарен, что вы рассказали мне о фотографиях.

— Нет-нет, всё в порядке. Мне доставляет удовольствие с вами беседовать. Как будто мы давние знакомые.

— Кем вы работали? — спросил Джамал.

— Когда-то давно я был журналистом. Потом мы переехали сюда, и я стал преподавать журналистику в Политехническом, — отмахнулся Джамал. — Теперь пишу рассказы для детей.

— Так вы писатель! — восхитился Джамал.

Харуна позабавил его восторг.

— Ну это громко сказано. Я делаю переложения, пересказываю для детей известные произведения. Парочку похожих и сам написал — для себя, не для публикации. Адаптировал отрывки из «Шахнаме» Фирдоуси и кое-что из Гомера, а недавно подготовил «Гамлета». Их публикуют в виде дешевых детских книжечек и продают в Южной Азии и Африке. Эта работа приносит мне удовольствие.

— С радостью бы почитал, — сказал Джамал.

— Хорошо, — сказал Харун. — Так, значит, вы хотите стать писателем?

— Я? — Джамала поразило, что он так о нем подумал.

Неожиданно Харун встал и подошел к бюро. Откинул крышку и полез в плотно набитую, потрепанную сумку. Вынул фотографию в рамке и протянул Джамалу. «Пэт», — пояснил он. На снимке они были вдвоем: стояли на большом пляже, повернувшись спиной к морю. Намного моложе, лет под сорок, с длинными черными волосами, Харун и рядом с ним Пэт. На ней было короткое, без рукавов, хлопковое платье в бело-лиловых разводах, на лице — доверительная полуулыбка. Выглядела она красивой и довольной, словно всё шло именно так, как и полагалось. Ростом вровень с Харуном, но немного, кажется, крупнее. День, судя по всему, стоял безветренный, потому что пряди ее длинных черных волос спокойно свисали, обрамляя лицо.

— Это в Сеннен-Ков, в Корнуолле, — сказал Харун. — Лето семьдесят шестого, восхитительное было время.

Джамал еще немного полюбовался снимком и вернул его Харуну.

— Чудесная, — сказал он.

— Она умерла, как вы, наверное, уже догадались. Столько лет была рядом, а потом ушла, навсегда. Раньше на бюро, где сейчас фотография женщины, стояло ее фото, в вашем приблизи-

тельно возрасте. Там, позади вас, висел этот наш снимок из Корнуолла. А над телевизором был мой портрет, я там снят студентом, только-только прибыл в Англию. После смерти Пэт я их убрал, потому что при взгляде на них мне становилось грустно и приходили мысли, которые причиняли боль. Эти снимки мешали помнить ее живой. Пусть лучше она является мне внезапно, в разных образах, чем смотрит так застыло. Это было как гром среди ясного неба: после стольких лет она ушла, и не с кем поговорить. Иной раз задумываюсь, как я здесь оказался, — и самому не верится. Но такое, наверное, много с кем происходит. Может, все события действительно случайны, а может, в нашем прошлом уже есть намеки на нас сегодняшних, и нужно лишь оглянуться, чтобы понять: то, что мы дошли до жизни такой, — это вполне закономерно.

Харун сконфуженно улыбнулся Джамалу своей кривоватой улыбкой, глаза его блестели.

— Вы очень хорошо умеете слушать, Джамал. Я наблюдал за вами, чтобы остановиться, если вы станете ерзать или заскучаете, а вы внимательно слушали. Полезный навык для начинающего писателя. Потрафили старику, и он теперь рад стараться и обременяет вас своими ничтожными

измышлениями.

— Вы меня совсем не обременили. — Джамал был тронут горем старика.

Они помолчали, и Джамал повторил:

— Вы меня совсем не обременили.

Ушел он уже после шести и к тому времени успел узнать, что Харун приехал в 1960-м из Уганды изучать журналистику. Его семья была из йеменских шиитов, очень набожная и ортодоксальная. «Езиды», — уточнил Джамал. «В точку», — подтвердил довольный Харун. В общем, Пэт они не обрадовались.

— А расскажите, как вам жилось, когда вы только сюда приехали? — попросил Джамал.

— Хотите вставить меня в свое исследование? — поддразнил его Харун.

— Нет-нет, просто люблю слушать рассказы о том, как люди обустраивались, с чем им приходилось столкнуться, — ответил Джамал.

— Оказаться в Лондоне было восхитительно, — сказал Харун. — Раньше я ведь только в книжках читал да видел на картинках. А тут все эти величественные здания и тихие площади. Забавно, но чуть ли не первое, что меня тогда поразило и о чем я невольно думаю, когда вспоминаю свой приезд, — какие толстые здесь цыплята в

мясных лавках и какие крупные яйца. Странные вещи порой запоминаются… Потом я сдружился с одним из университетских преподавателей. Его пара оканчивалась довольно поздно, и после нее мы раз-другой ходили куда-нибудь выпить. Он был ненамного старше, в детстве какое-то время пожил в Кейптауне и потому решил, что у нас есть что-то общее. Мы оба из Африки, сказал. Его звали Алан, и мне нравились его сдержанность и неулыбчивость. Хотя студентам помоложе его манера держаться, должно быть, казалась чопорной и отпугивала.

Благодаря Алану я и встретил Пэт. Она была его женой. Он пригласил меня к ним на ужин, а через несколько недель я ее у него увел. Точнее, она меня увела. Я был очень наивен в таких делах. В моей семье насчет этого было строго, и, признаться, в любви я был абсолютный профан. Совершенно не представлял, как мерзко буду себя чувствовать, закрутив роман с женой друга. Предательство, обман доверия, ложь, тайные свидания — я нарушил все обязательства дружбы. Мне хотелось всё оборвать — и в то же время ужасно этого не хотелось. Пэт была женщиной красивой, темпераментной, и я считал, что мне незаслуженно повезло, что она выбрала меня.

Еще она была решительной и своенравной и безмерно себя обожала. Она убедила меня, что мои трепыхания совести ничтожны и что не стоит принимать их за высоконравственность. Свои желания нужно исполнять, говорила она; идея эта была для меня в диковинку, но в последующие десятилетия я убедился, что Пэт права.

В общем, так мы и встретились с Пэт. А когда съехались, я окончательно понял, что жизнью своей больше не владею: кроме как остаться, другого выбора у меня не было. Это решение дорого мне обошлось. Я написал отцу, всё объяснил — он не ответил. Вместо него написал дядя, посоветовал приехать и лично обо всем рассказать, но я знал, что тогда мне не хватит духу пойти наперекор и уехать. Меня стреножат обязательствами. Понимаете, о чем я, да? Не смущает, не противно слышать такие подробности о жизни старика, а? Я остался в Лондоне, пообещав, что вскорости приеду повидаться и всё обсудить, но так и не приехал. Все эти годы, когда спрашивают, сколько я тут живу, для меня ответить — словно признаться в преступлении.

В воскресенье вечером Анна, как всегда на этой неделе, позвонила матери. Общались недолго. Пока по-прежнему. Лекарства принимает, ест

хорошо, но говорить еще не хочет. Надо немного подождать.

— Ох, Ма! — Анне было совестно за предыдущие выходные — не за сами слова, а за то, что не сдержалась. Не выслушала мать как следует, не посочувствовала, когда в этом была необходимость. Но как теперь извиниться, она не знала. Вместо этого пустилась советовать: не уступай и, если тебе нравится ходить помогать в Центре для беженцев, — ходи. Да уж, нашла что сказать…

— Не беспокойся ты так за нас, мисс, — сказала мать. И за него не беспокойся. Он скоро пересердится. А теперь я пойду, а то как бы не начал волноваться.

Когда она отложила телефон, Ник спросил:

— Какие новости у беглеца? Я тут вдруг понял: как ни странно, я почему-то не удивлен, что он сбежал.

Это было неожиданно. После ее возвращения из Нориджа он почти ни словом не обмолвился о ее отце, а тут вдруг взялся насмешничать. Она и сама подшучивала над отцом, называла двоеженцем, — так то она, ей можно. Ему — нет. Ба ее отец, не его. Что значит «он не удивлен»? «Объяснись», — потребовала она таким тоном, что он поморщился. Она видела, что он начинает злить-

ся, что она снова выводит его из себя, но решила: пусть объяснит, это что еще за инсинуации.

— Не заводись, пожалуйста. Я несерьезно, ляпнул, не подумав, для красного словца, забудь, — примирительные слова он цедил сквозь стиснутые зубы.

Она терпеть не могла, когда он так делал, словно едва сдерживался, чтобы не взорваться и не наорать на нее.

— Пусть несерьезно, всё равно объясни, что ты имел в виду. Что значит «ты не удивлен»?

— Ну хорошо, — сказал он. — Я не удивлен, потому что так и думал, что он в бегах.

— С чего ты так думал? Считаешь его слабаком. Презираешь, да? — сказала она.

Он одарил ее одной из своих высокомерных улыбок.

— Мир жесток, и умный человек не рассчитывает на сострадание к своей боли. А твой отец ведет себя так, словно у него какая-то особенная боль, не как у других. Насчет презрения сказал не я, а ты. А обвиняешь меня. Забудь. Прости, если я, по-твоему, недостаточно уважительно отнесся к произошедшему с твоим отцом.

Он сокрушенно развел руками — дескать, давай оставим этот разговор. Не будем ссориться.

— А вообще я только что получил имейл от мамы, — улыбнулся он, стараясь ее отвлечь. — Энтони и Лора расстались. Они поцапались, и он в прямом смысле слова вышвырнул ее из дома. И это уже не в первый раз. Она вернулась через заднюю дверь, а он снова ее вытолкал. Вокруг дома у них леса, чинят крышу, и она хотела по ним пробраться внутрь, но он запер все окна. Ночь она провела на лесах, а наутро он выставил наружу пару чемоданов с ее вещами, сунул в руки сумочку и ключи от машины и велел проваливать. Насовсем.

— Вот гад! Как это насовсем?

— Не знаю, — сказал Ник. — Дом принадлежит ему. Плюс он совладелец фирмы, в которой она работает. Так что насчет не возвращаться речь могла идти как о доме, так и о работе. Он жуткая скотина, и она, скорее всего, не отважится поднимать шум.

— Он так опасен? — спросила Анна.

— А то ты не знаешь! Думаю, Лора его боится. Порой, когда я на них смотрю, мне кажется, что она по-настоящему его боится, физически. Мама не говорила, но думаю, он поднимает на нее руку.

— Где она сейчас?

— Не знаю, — сказал Ник. — Можешь спросить у мамы, когда она приедет. Они хотят навестить нас в следующие выходные.

Они приехали в субботу после обеда, Ник стоял у окна и высматривал их. «Вольво» Джилл и Ральфа медленно катилась по улице, подыскивая место для парковки. Они вышли на тротуар их встречать, и Анна заметила у окна соседку, Беверли. Помахала ей. Беверли тоже помахала, но уходить не думала и вообще явно сгорала от любопытства.

Ник обнял Анну за плечи и по-хозяйски притянул к себе. Когда родители вышли из машины и двинулись в их сторону, он оставил ее и поспешил к ним. Джилл вручила им красивую голубую вазу. «Под цвет вашей двери, дорогая», — сказала она, обнимаясь с Анной.

— Ты обратил внимание, какого цвета здесь входная дверь, Ральф? Ни о чем тебе не напоминает? — спросила Джилл, глядя на Анну с заговорщицкой улыбкой.

Анна не так давно призналась ей, что этот голубой напоминает ей о тунисских дверях, о которых Ральф рассказывал в день их знакомства. Ральф немного озадачился, не понимая, к чему клонит супруга.

— Не напоминает ли тебе этот цвет о Тунисе? — Джилл пришла ему на помощь, кивком указав на дверь.

— О да, о да, действительно, — рассеянно и как-то неуверенно откликнулся он.

Он показался Анне усталым, обмякшим внутри своего блейзера, без всегдашнего светского блеска. У Джилл чуть опустились уголки губ, и Ральф мигом отреагировал, выпрямил спину. Джилл попросила Анну показать ей дом, и Анна со смехом ответила, что это займет всего минуту. Когда добрались до дальней комнаты наверху, Джилл вдруг запнулась, словно хотела что-то сказать, но потом тряхнула головой и улыбнулась.

В тот вечер Джилл и Ральф отвезли их в фешенебельный ресторан — заранее его выбрали, заказали столик. Ральф не утерпел и похвастался, какое это прославленное место и как повезло заполучить тут столик буквально в последний момент. Цены, конечно, были умопомрачительные, зато кормили отменно. Ральф пробежал глазами винную карту и подозвал официанта. Вполголоса что-то заказал, и официант почтительно поклонился, из чего Анна заключила, что вино было заказано весьма дорогое. Она расслышала год урожая — 1954-й. В последнее время

барственная манера Ральфа начала ее раздражать, и она предвидела еще один утомительный вечер. Когда все расселись и Ральф достаточно промочил горло, он завел речь о Лоре и Энтони. «Не из-за них ли он приехал такой смурной?» — подумалось ей.

— В детстве Лора ни минуты не могла усидеть на месте и ничего не боялась, — сказал он. — Даже неясно было, в кого она такая. Стержень, понятное дело, у нее от матери. По ее линии в роду сплошь кузнецы, так что вполне естественно, что у потомка в характере могло проявиться железо. По нашей линии ничего такого унаследовать невозможно. У нас одни лишь апатичные прелаты, которые только и умеют, что блюсти правила и велеречиво толковать слово Божье. Вы, Анна, видели нашего обожаемого Дигби, так что сами понимаете.

Ничего она не боялась, как те дети у Блейка, которые брели по ночам и лежали со львами и змеями, не ведая страха. Всё давалось ей так легко и споро, так естественно, что поначалу она даже не успевала понять, как этому научилась. Это касалось и разных физических навыков, и школьных знаний. Она за считаные минуты выучилась плавать и через несколько дней уже

плескалась в воде, словно нерпочка. Еще совсем малышкой могла с поразительной ловкостью залезть на дерево и благополучно с него спуститься. Учителя и родители ее маленьких друзей, вероятно, считали ее безрассудной и, должно быть, глаз с нее не спускали — как бы не втянула других детей в свои авантюры. Только это было не безрассудство. Да, ей случалось неверно оценить свои силы или прочность того, на что она решилась замахнуться. Не знаю, где проходит грань между безрассудством и бесстрашием, но она никогда ее не переступала. Даже по ее желаниям это чувствовалось. Сначала она хотела быть воздушной гимнасткой, потом пилотом, потом строить мосты и наконец решила стать архитектором. Ее желания были не просто осуществимыми, они постепенно делались всё более приземленными — не летать по воздуху, а проектировать дома.

Потом она поступила в университет и изменилась. Мы не сразу это поняли, поначалу всплывали лишь какие-то мелочи, пустяки, но со временем мы стали замечать, что она утрачивает былую взвешенность поступков. Так отбивающий неверно оценивает подлетающий мяч, бьет и раз за разом промахивается битой, а футболист не успевает отследить серию пасов от товарищей

по команде. Не то чтобы она сделалась неловкой. Но ушли естественность, уверенность в принятии решений. Она цеплялась к людям в магазинах и ресторанах, грубила. Категорично высказывала свое мнение, безрассудно, чего раньше за ней не водилось, гоняла на машине, опасно перебегала дорогу, подходила к самому краю обрыва.

Ральф покосился на Джилл — всё так, он не преувеличивает? Та кивнула, но в ее жесте Анне почудилось легкое нетерпение, словно в действительности Джилл считала, что Ральф всё же преувеличивает и Лора совсем не такая, а еще ей хотелось, чтобы он поскорее договорил и можно было побеседовать о чем-нибудь другом. Анне тоже хотелось побыстрее с этим покончить, так что она была с Джилл солидарна. Что-то в его голосе — то ли поучающий тон, то ли увлеченное самолюбование — раздражало ее больше обычного. Ральф перевел взгляд на Ника и потом наконец взглянул на Анну; лицо его всё еще было мрачно, но глаза уже чуточку блестели от вина. Он сделал еще глоток, не спеша, зная, что никто его не прервет, и Анна подивилась его убежденности, что слушатели будут покорно сидеть и ждать.

Он продолжил:

— Думаю, она так изменилась из-за мужчин.

Мы с Джилл много говорили об этом все эти годы. Таковы родители: только и делают, что без конца говорят о детях и потом на основе этой болтовни порой выстраивают сложные умозаключения. Так что, может статься, и мое утверждение о том, что Лору изменили мужчины, — тоже не более чем один из таких болтологических выводов. Как бы то ни было, мужчин она выбирала таких, которые ее подначивали, подбивали на всякие рискованные штуки. Не удивлюсь, если она тоже их подначивала. И даже провоцировала, тоже не удивлюсь. Она рассказывала: попойки, опасные переделки за городом… Тебе, Ник, она наверняка еще что-то рассказывала, о чем не говорила нам. Это вполне естественно.

— Ничего она мне толком не рассказывала, — сухо ответил Ник.

Похоже, он тоже понемногу начинал закипать.

— До Энтони мы знали только еще об одном ее мужчине, — сказал Ральф, проигнорировав его попытку возразить. — Его звали Джастин, он был долговязый, нескладный, любил поесть; они долго встречались. Надеюсь, я не слишком обидно его описываю. Неловкий, застенчивый малый с хорошими манерами. Они повсюду были вместе: путешествовали, катались верхом и на лыжах,

лазили в горы. Даже когда к нам приезжали, часами пропадали на прогулках. А потом, видимо, устали друг от друга, потому что едва закончили учебу — а учатся архитекторы долго, — разбежались в разные стороны, словно так изначально и планировали.

А потом она встретила Энтони, поступила к нему в бюро, и я с самого начала заподозрил, что он ей не по зубам. Там если и могло сложиться, то лишь если бы она была готова брать под козырек по первому его требованию, а он человек такой, что козырять пришлось бы часто. К моему удивлению, она оказалась не против, и прежнее бесстрашное дитя стало младшим партнером в сомнительном предприятии. Сомнительным я назвал его не потому, будто думаю, что между ними всё кончено и, значит, позволительно высказать всё, что я думаю об их отношениях. Не уверен, что они закончатся, несмотря на весь этот недавний кошмар. Потому как знаю: синяки сойдут, и эти двое снова съедутся, чтобы наставить друг другу новых. «Сомнительное» я сказал потому, что с самого начала расцениваю их партнерство как спорное и неравноправное.

Джилл заерзала в кресле, и Анна обрадовалась, что сейчас она нетерпеливо хлопнет по столу

и сменит тему, однако было понятно: никто не отважится перебивать Ральфа, когда он настроен поговорить. Он снова отхлебнул вина, они прилежно ждали.

— Почему в Энтони столько злобы и жестокости? Я размышлял об этом не раз. Возможно, он таким родился. Бывает, что люди неадекватны и отвратительны просто по своей природе. А возможно, это от воспитания. Он вырос в Родезии, в семье с жестокими нравами. Отец его, судя по всему, был человеком буйным, разочарованным, часто пил и срывался на крик. Видимо, Энтони неизбежно впитал эту отраву и теперь тоже живет во злобе. Как бы то ни было, эти двое, Энтони и Лора, уже добрых десять лет колошматят друг друга, причем бедняжке Лоре попадает намного больше. Энтони не справляется с гневом и совершенно потерял страх, не чувствует берегов. Много лет с нарастающим бессилием я наблюдаю это безобразие, а в последнее время начинаю опасаться худшего.

Ральф замолчал, но что-то в его тоне подсказало Анне, что это лишь передышка — подкопить сил. Принесли еду, все оживились, и чары Ральфа рассеялись. Когда официанты удалились, Джилл сказала:

— Что ж, Ральф, теперь, когда ты высказался, давай пожелаем им обоим всего хорошего и оставим в покое. А сами лучше поднимем тост за Ника и Анну.

— За Ника и Анну! — Против тостов Ральф никогда не возражал.

«Чтобы так вышколить домашних, понадобились, должно быть, годы упорной дрессуры», — подумалось Анне. Добиться повиновения можно не только гневом и капризами — Ральф вполне управлялся с помощью тонкого, искусного словоплетства. Она слушала его, и в душе вскипал безмолвный гнев. Сколько можно мучить нас самодовольными разглагольствованиями! Как представишь, что в твое отсутствие тебя саму так же препарируют…

За вечер было поднято еще немало тостов, и все были слегка нетрезвыми, когда вышли из ресторана и направились по набережной провожать Джилл и Ральфа до отеля. Ночь выдалась ясная, холодная, звездная. Ральф немедленно завладел рукой Анны и мало того что не отпускал, еще и поглаживал свободной ладонью. От этого прикосновения Анна внутренне вскипела, но руку не отняла. По пути он принялся декламировать «Одинокую жницу», обращаясь к морю, слов-

но там его слушала многочисленная публика. Проходившая мимо пара улыбнулась, он весело помахал им рукой.

И жнет, и вяжет — всё одна,
И песня долгая грустна,
И в тишине звучит напев,
Глухой долиной завладев.

Так аравийский соловей
В тени оазиса поет,
И об усталости своей
Не помнит пешеход.[5]

Дочитав до конца, он легонько похлопал Анну по животу и сказал:

— Вот подаришь нам маленького дикаренка — будем в качестве колыбельной читать ему на ночь Вордсворта.

Анну передернуло, а Ральф лишь покрепче ухватил ее за руку, посмеиваясь себе под нос. Какое-то время шли молча, вдруг Ральф сказал:

— Слышал о твоем отце, сочувствую. Ужасно узнать такое о близком человеке.

От этих слов Анна вмиг отшатнулась и отдер-

---

[5] Примечания: 5
Уильям Вордсворт. Одинокая жница. Пер. Игн. Ивановского.

нула ладонь. Отскочила в сторону и возмущенно уставилась на Ральфа. Он посмотрел на нее с изумлением и хотел что-то сказать, но она предостерегающе вскинула руку. Потом отвернулась и поспешно зашагала прочь, стараясь нагнать остальных, а он молча поспевал рядом. Когда он сказал про сочувствие, она подумала было, что он имеет в виду отцову болезнь. Это был первый случай, когда он вспомнил про ее отца. В разговорах с Ральфом и Джилл ее семья никогда не фигурировала — видимо, так после тех первых совместных пасхальных выходных они старательно демонстрировали чуткость. Но, должно быть, Ник рассказал им, как отец сбежал от той женщины. И Ральф посочувствовал ей в связи с тем, что ее отец — двоеженец.

Джилл обернулась и, вероятно, заметила, что они идут поврозь и не разговаривают, потому что потом еще дважды оборачивалась. Когда до них оставалось несколько шагов, Ральф тихо спросил:

— Анна, что я сделал не так? Я просто хотел проявить сочувствие. Я не хотел тебя обидеть. Мне ужасно неловко за мою бесцеремонность.

Он дотронулся до ее руки, вид у него был озадаченный и обиженный. Она кивнула — молча,

сдерживаясь, чтобы промолчать. Тоже коснулась его руки — ей не хотелось ссориться, особенно сейчас, когда они приехали в такую даль и так старались создать теплую атмосферу. Вряд ли она им симпатична, да и они ей не нравились, даже Джилл, которая отнеслась к ней по-доброму. Такой добротой обычно совестливо прикрывают неприязнь.

Пока они шли по набережной и Ральф декламировал Вордсворта, Анна думала об отце. Не потому, что отец читал ей Вордсворта или они хоть раз гуляли с ним вдоль моря темной, холодной, звездной ночью, не потому, что неуклюжие ухватки Ральфа хоть отдаленно напоминали родительскую ласку. Но этот голос, читающий стихи… Анне хотелось, чтобы это был отцовский голос. Чтобы это он шел рядом и делился с ней прочитанным, или в который раз костерил безудержную алчность властей, или рассказывал сказку из ее детства — что-нибудь про находчивых и плутоватых зверюшек.

На прощание она поцеловала Джилл, потом расцеловалась с Ральфом, и он крепко ее обнял. В глазах его по-прежнему плескалось недоумение, и ей стало жаль, что она его обидела.

В тот вечер, едва переступив порог, Ник с Анной

начали ссориться и ссорились долго, с какой-то безжалостной логикой обмениваясь обвинениями, подогреваемыми еще одной бутылкой вина. Многое из сказанного всплывало и раньше, но кое-что оказалось внове, и их разногласия вышли на новый уровень. Следующие несколько дней они почти не разговаривали, и Анна понимала, что дело идет к разрыву. Угрюмое их противостояние изматывало. В конце неделе Нику предстояло ехать в Оксфорд на еще одну конференцию, и она решила за время его отсутствия определиться, что ей делать. Через пару недель начнутся занятия в школе, и надо подготовиться к новым обязанностям. С нее действительно хватит.

Закончилось всё проще, чем она ожидала. В четверг днем она побывала в школе на собрании перед началом учебного года, потом зашла в класс, чтобы решить, какие картинки на стенах хочет поменять. Раньше кабинет ей не принадлежал, но теперь она штатный учитель и имеет право оформить его по своему вкусу. Уберет портрет Байрона в албанском костюме и, наверное, вид Сидней-Харбора — не то что бы они ее так уж раздражали, просто ей нравится что-то более уютное. Например, сверкающий ручей посреди лесной чащи, или тенистая городская улица, или

хотя бы карта мира.

Ник в тот день умчался в Оксфорд, чтобы успеть в пятницу на утреннее заседание. Его не будет до вечера воскресенья, так что все выходные в ее распоряжении. По пути домой она прикидывала, что́ приготовит на ужин, и поняла, что дома ничего подходящего нет. Сгрузила сумки в прихожей и покатила в «Сейнсбери». У нее были ключи от машины, но водила она редко, так что поездка вечером в четверг за покупками была для нее сродни загулу или авантюре, пусть кому-то это и могло показаться смехотворным. Из-за плотного потока машин добираться до супермаркета пришлось долго, но она была в хорошем настроении и никуда не спешила. Купила леща, спаржу и кусочек говядины на завтра. И две бутылки дорогого вина. Дома переложила покупки в холодильник и вышла в сад посидеть в спускающихся сумерках. Нахлынули мысли: о событиях дня, о последнем разговоре с матерью, о Нике и конференции. Джулия там, конечно, тоже будет. При этой мысли кольнуло болью — где-то в области сердца. Удивительно абсурдное всё-таки у человеков устройство. Ну при чем тут сердце? Не в нем ведь живут чувства, и всё равно при мысли о том, что Ник с Джулией занимаются

любовью, сердце шло вразнос. Она вернулась в дом, открыла вино и пошла наверх переодеться.

Она не сразу поняла, что это за звук, а потом до нее дошло, что она уже слышала его внизу, только он был слишком слабенький, неразличимый. Теперь стало ясно, что это звякнуло пришедшее на мобильный сообщение. Она побежала вниз, в гостиную, где оставила сумочку. Но ее мобильный оказался выключен, и сообщений там не было. Звук донесся снова, на этот раз слабее. Ник! Должно быть, забыл свой мобильный где-то наверху. Телефон обнаружился на столе в кабинете, и она не стала колебаться. Открыла его и прочла сообщение: «Думаю о тебе с того момента как проснулась поскорей бы ночь хочу прижаться к тебе лю джу целу». Закрыла телефон и пошла переодеваться. Потом, полураздетая, сидела на кровати и пила вино, покуда по телу не стало растекаться тепло. Подождав, отправилась в ванную и сидела на стульчаке, пока полностью не опорожнилась.

Она-то думала, что готова к такому повороту событий, и совершенно не ожидала, что ее парализуют ужас и апатия. Она заставила себя пойти вниз, но при мысли о леще ее замутило. Может, потом сделает себе какой-нибудь незатейливый

тост. Она налила себе еще вина и села, удивляясь, как предательски ведет себя тело. Потом ей всё же удалось собраться с силами и подумать о насущном. Убеждала себя, что такие отношения ее не устраивают, — и вот, пожалуйста, развязка близка. Она вернулась на кухню, включила духовку, переставила чистые тарелки на сушилку, вымыла спаржу и завернула леща в фольгу. Когда духовка разогрелась, поставила леща запекаться, а сама пошла наверх задернуть шторы. Предстояло решить много практических вопросов, и в голове уже шевелилась смутная мысль, что надо будет определиться с жильем и всем остальным, как вдруг ее сковало страхом перед грядущими переменами. Она почувствовала, что готова дрогнуть, — может, стоит немного подождать и посмотреть, как всё обернется? Так, надо чем-то себя занять. Например, снять с кровати белье и постелить чистые простыни, избавиться от его запаха, — но сейчас на это нет сил, а запах его повсюду.

Рыбу она не осилила, а спаржу съела и выпила еще вина. Включила телевизор — скукота. Поднялась в спальню и стала разбирать свой ящик тумбочки у кровати — пролистала паспорт, перебрала украшения, а потом вдруг решила всё же

поменять постельное белье. Чистые простыни, как всегда, дарили удовольствие, хорошо бы, конечно, еще принять душ, но вылезать из кровати не хотелось. Попробовала читать — не смогла сосредоточиться. От вина стало клонить в сон, она погасила свет и устроилась поудобнее.

Проходили часы, но сон не шел, зато в голове мелькали обрывки воспоминаний, и никуда было от них не деться. Думалось о жизни дома, о детстве, о Нике, о том, что с ней будет, и то и дело всплывали воспоминания о неловких моментах и ситуациях, когда ей недоставало умения себя поставить, не хватало духу реагировать твердо и благожелательно. Зачем она столько тянула? Понятно же было, что этим всё кончится. Теперь она изо всех сил сопротивлялась новому приступу того, что виделось ей мягкотелостью, дурацкой нерешительностью. К утру она бессильно захлебывалась от жалости к себе и ощущения безнадежности.

Когда он приедет, она скажет, что с нее довольно этой душной жизни вдвоем. Отношения на стороне повышали его самооценку, дарили спесивую убежденность, что можно лгать и обманывать, не опасаясь, что всё откроется. Она, наверное, даже рассказать о случившемся

никому не решится. Только бы он не позвонил — разговаривать с ним было бы невыносимо. Что сказать?

Это правда? Ну конечно правда. Хорошо, тогда я ухожу. *Куда мне идти?*

Это правда? А ты как думаешь? Хорошо, тогда вали отсюда. Да пошла ты, это мой дом, сама вали. *Как это делается?*

Это правда? Как ты могла такое обо мне подумать? Конечно нет. Я всё объясню.

В воскресенье она проснулась рано и лежала в постели, глядя, как свет проникает сквозь открытую дверь и незашторенные окна дальней комнаты и заливает площадку лестницы и спальню. Паника почти прошла, сменившись нервной дрожью, которая охватывала ее всякий раз перед поездкой в незнакомое место, пугавшее своей неизвестностью. Поездки эти всегда оказывались совсем не такими страшными, как она себе напридумала, — возможно, и на этот раз обойдется.

Чайки на крыше подняли невыносимый гвалт и разрушили очарование момента. Пришлось встать, заварить чай и как-то убивать время в ожидании его приезда. Нетерпения не было, но сосредоточиться и переключиться на что-то еще не получалось. Так что она просто села с книгой

на коленях и ждала. Ник приехал около пяти. Она слышала, как подъехало такси и как потом повернулся ключ в замке. Он вошел и с улыбкой чмокнул ее в губы. На нем был новый пиджак, в руке он всё еще держал сумку с вещами, и вид у него был умудренный и бывалый, как у человека, повидавшего большой мир. Он поставил сумку, снял пиджак и сел в кресло напротив.

— Хорошо съездил? — спросила она.

Он рассиялся.

— Очень хорошо, — сказал он. — Прости, что не звонил. Забыл мобильный, а до телефона в нормальное время добраться не получалось.

Она кивнула.

— Твой мобильный наверху, я его нашла, — сказала она. — Сообщения от Джулии прочитала.

Ник сходил наверх и вернулся с раскрытым телефоном в руке. Посидели, помолчали, каждый ждал, что скажет другой.

Он вздохнул и произнес:

— Прости. Надеялся, что выключил его, но, оказывается, нет. Я не нарочно его оставил, не для того, чтобы ты обо всем узнала.

Анна пожала плечами.

— Ничего страшного. Я догадывалась, — сказала она.

Анна думала, он станет что-то говорить, объяснять, оправдываться, но он просто обхватил голову ладонями и замер. Когда он посмотрел на нее, в глазах у него стояли слезы.

— Прости. Я люблю ее, — ровным голосом сказал он. — Так вышло. Мы не могли ничего с собой поделать. С самого начала.

Она ожидала услышать эти или им подобные слова и думала, что ей будет больно, но этого не случилось. Наверное, оттого, что они вошли в ее плоть еще до того, как были им произнесены. Она ощущала усталость, но и облегчение, что это наконец произошло, что назад дороги нет, что он не будет изворачиваться и умолять понять и помириться.

Они до сумерек сидели в гостиной, вороша прошлое и всё больше распаляясь. Он заявил, что дело не только в Джулии, что у них и без того всё шло наперекосяк и что она никогда не разделяла его интересы. Она упрекнула его в том, что он постоянно командовал и думал только о себе. Он сказал, что она стала мелочной, ограниченной, безрадостной и переживала из-за всякой чепухи. Обвинил ее в том, что она завидовала его растущему успеху, и она усмехнулась, поразившись, как точно разгадала его самовлюбленную нату-

ру. Он сходил к холодильнику за вином, принес бокал и ей тоже. Что ей ни скажи, продолжал он, она подпрыгивала и оскорблялась, словно он бог весть какой агрессор, просто умора. Родители приехали в такую даль — так нет, надо было испортить вечер из-за того, что Ральф сказал что-то о ее отце, то ли из-за еще какой-то ерунды. А под занавес, явно разозлившись, он выпалил:

— Мне жаль таких, как ты.

— В смысле — таких, как я? — спросила она, думая, что он имеет в виду расовую принадлежность.

— В смысле таких, как ты, которые не умеют нормально устроиться. Отец твой вечно всех тиранил своими жалобами и постоянным нытьем, словно он в глубоком психологическом кризисе. А у него всего-навсего диабет, вполне поддающееся лечению заболевание. Твою мать бросили родители, и она не знает, кто она. Тут не надо быть гением, чтобы пойти и это выяснить. Почему нельзя было заплатить агентству, чтобы нашли информацию? Или вам с братом самим поискать? В считаные дни всё бы узнали. Но нет, нужна еще одна незаживающая драма. А потом обнаруживается, что ваш отец — двоеженец в бегах, но он не мог просто взять и рассказать об

этом, и вы дружно впадаете в беспросветную мелодраму и ведете себя как иммигранты.

Анна кинулась было возражать и защищаться, но прикусила язык. Она ведь и сама так думала. Он озвучил ее собственные мысли, разве что сделал это с насмешливым презрением. А слово «иммигранты» вообще произнес с той же степенью пренебрежительности, с какой произнесла бы и она.

— А ты, — сказал он, и она поморщилась и на секунду закрыла глаза, понимая, как непросто дастся ей этот момент унижения. — Ты всё время щетинишься и бросаешься на людей на ровном месте. Мама с отцом старались, а ты ухитрилась увидеть в их радушии снисходительность и снобизм. Вместо того чтобы быть приятной и завоевать их расположение, ты заставляла их чувствовать себя виноватыми. Они, дескать, не понимали, в чем состоит трагедия твоей жизни. А ты, вместо того чтобы действовать, ждешь, что всё произойдет само, и огорчаешься, что ничего не происходит. Считаешь, что у тебя нереализованные планы, но никаких планов нет, а есть одни только желания — несостоятельные, мечтательные желаньица.

Он помолчал и сказал:

— Кажется, меня занесло.

Какое-то время они сидели молча, не глядя друг на друга, и Анна понемногу остывала. Сколько времени, было непонятно, но за окном уже стемнело. Переночует в кабинете, а утром пойдет в агентство по найму жилья. Вдруг Ник встал и подошел к дивану. Подсел к ней, она неверяще напряглась. Положил руку ей бедро и сказал:

— Ну, последний разок? По старой памяти?

Улыбнулся, приглашая ее к очередному непристойному безумству, но тут же сник, потому что она расхохоталась.

— Да ладно тебе, ведь было же классно, — сказал он.

Она засмеялась громче — еще больше от него отгородиться.

— Жадный, эгоистичный сукин сын, — сказала она. — Даже не мечтай.

Он предпринял новую попытку — протянул руку, улыбнулся, не обращая внимания на ее смех, отказываясь воспринимать отказ всерьез. Она оттолкнула его руку и, оборвав смех, встала. Он тоже встал и подхватил сумку.

— При случае заеду за вещами. Я на связи, звони на мобильный в любое время.

И всё, и он ушел. Ее трясло от злости из-за его

прощальной выходки — словно с ней можно было просто поразвлечься напоследок, невзирая на всё им сделанное и сказанное. Словно в знак прощального одолжения он был готов задержаться и осчастливить ее последней лаской, прежде чем оставить наедине с сожалениями.

Надо же, как быстро всё произошло. Может, он уже так прочно влюбился в Джулию, что для него расставание было просто вопросом времени. Может, Джулия уже ждала его в тот вечер. Но Ник есть Ник, он не мог упустить шанс перепихнуться напоследок перед уходом, просто чтобы показать, что может овладеть ею, когда ему заблагорассудится. На улице завелся двигатель, и, несмотря на всё происходящее, она не смогла удержаться от улыбки. Потрясающее умение брать всё, что пожелается. Колониальный инстинкт, присущий не только настоящим англичанам. У некоторых людей он в крови — они просто берут всё, что пожелают, или хотя бы то, что удается взять. Ник делал это якобы по рассеянности, как сейчас взял машину, якобы случайно забыв спросить разрешения, но она была уверена: он прекрасно знал, что делает. «Что ж, — сказала она себе, — хватит вести себя как иммигрантка, пора собраться и действовать». Жизнь начинается заново, ей два-

дцать восемь — хороший возраст, полный сил и надежд. Она заперла входную дверь и накинула цепочку.

23 сентября того года, в предрассветные часы, у Аббаса случился инсульт, и после этого благословенного третьего инсульта он тихо ушел, не попрощавшись, как некогда уже сделал это сорок четыре года тому назад.

5. Обряды

Я прожил дольше, чем ожидал. Хотя, может, все так про себя думают, не знаю. Как ни удивительно, но я всё еще здесь, и я понятия не имею, чья в том вина. Не ожидал столько протянуть и не знаю даже, что это — удача или упрямство. А может, мне и впрямь хочется подзадержаться, только я не признаюсь. Какое это грязное дело — умирать! Вроде и знаешь, что будет, но боль всё равно в итоге донимает, и так мучительно ощущать себя беспомощным и ни на что ни годным. Впрочем, думаю, теперь мне недолго уже осталось.

Когда я был много моложе, я думал, что это надолго не затянется, что я недолго еще протяну, что вскоре отчалю, отдам концы, не дожив до тридцати. Отъезд уже был всё равно что смерть, и умереть по-настоящему казалось не страшно. Не потому, что жизнь моя была ужасна и я мечтал, чтобы она поскорее окончилась, просто не видел в ней тогдашней особого смысла. С тех пор прошло много лет, а я до сих пор здесь, докучливый гость в собственной жизни. Она огорчается, когда я говорю, что будь моя воля, ни за что бы не

согласился ни на этот мир, ни на эту жизнь с ее докучливыми приходами и уходами. Огорчается, думая, что я так говорю, потому что хочу умереть или потому что она ничего для меня не значит. Я не хочу умирать, и она лучик света в моей жизни, но странно, что смерть до сих пор не пришла.

Эту историю мне рассказал один ливанец, которого я встретил в доках в Могадишо. В те дни Могадишо еще был портом, а не бойней. Он вроде как узнал меня, заулыбался и подошел пожать руку, но выяснилось, что он обознался. Так часто бывает: в самых отдаленных и неожиданных местах людям кажется, что они видят своих знакомых. Это говорит о том, что мы похожи больше, чем думаем, или больше, чем нам хотелось бы думать. Мы посмеялись над его ошибкой, снова пожали руки, а потом перебрались в тень склада, подальше от палящего дневного солнца, и ливанец рассказал эту историю.

Жил в Иерусалиме один человек, и отправился он в Хайфу навестить друзей и родных. Там он ходил из дома в дом, приветствуя друзей, и вдруг столкнулся с человеком, который как будто его узнал и сильно удивился. Но не остановился, и человек из Иерусалима тоже продолжил путь, гадая, где он мог видеть этого высокого властного

человека. Немногим позже человек из Иерусалима сидел в кафе неподалеку и пил с друзьями кофе, как вдруг снова увидел высокого. Заметив его, высокий замешкался, словно его-то он и искал, и, проходя мимо, одарил его пристальным свирепым взглядом. Друзья человека из Иерусалима подивились свирепости этого взгляда, но высокого никто из них не знал. Человек из Иерусалима забеспокоился: не обидел ли он, сам того не ведая, высокого, не причинил ли ему зла? Такое порой случается невзначай. Вскоре после этого он направился на обед к одному из своих родичей и снова наткнулся на высокого. Тут уж никаких сомнений не было: глаза его сверкали от злости. Человек из Иерусалима испугался, что его преследует подосланный убийца, быстро распрощался с родными и поспешил обратно в Иерусалим. Ближе к вечеру он сидел на террасе своего дома, радуясь, что счастливо избежал опасности в Хайфе, как вдруг снова увидел высокого. Тот улыбнулся и направился прямиком к нему. «Салам алейкум, — сказал он, — мое имя Азраил. Я пришел за твоей душой. Что тебе понадобилось в Хайфе? Мне было велено явиться за твоей душой в Иерусалим за полчаса до вечерней молитвы, а ты прохлаждался в Хайфе. Хорошо хоть успел

вовремя вернуться».

Надеюсь, я ничего не перепутал. Ливанец с таким удовольствием рассказывал эту историю, было бы жаль ее испортить.

Она хочет, чтобы я всё рассказал, твердит, что это пойдет мне на пользу. Говорит, нужно рассказать детям всё, о чем я им не говорил. Дескать, мои секреты их пугают. У родителей, отвечаю, всегда есть секреты от детей. Откуда они знают, что моих секретов стоит бояться? Мой отец рос в нищете, зато на моей памяти это был суровый, страшный, неутомимый коротышка, вечно всеми помыкающий. Не думаю, что я переживал из-за того, что он не рассказывал о себе. А даже если бы переживал, то не знал бы, как подступиться с расспросами. А если бы переживал и подступился, он всё равно не стал бы ничего рассказывать просто ради моего любопытства. И мать моя никогда не говорила о детстве или своем прошлом. Да и не рвался я это узнать, и вовсе не потому, что мне было безразлично или что ей нечего было рассказать. Всем есть что рассказать. Раньше я об этом не задумывался, но ведь она и вправду никогда о себе не говорила — чем она занималась в жизни или чем хотела бы заниматься. Для нас она была просто мама, вечно в работе, вечно жалующаяся,

словно такой и родилась.

А она мне: наши дети живут в этой чужой стране, а мы только и делаем, что темним и скрываем от них, кто мы есть. Ей кажется, им от этого плохо и страшно. Мешает ощущать уверенность в себе, говорит она. Как будто мы обязаны быть всё время в себе уверенными. Как будто можно знать всё, что хочется. Как будто знание освобождает нас от страхов. И вообще, говорю ей, меньше знаешь — крепче спишь. Подумаешь, чего-то не рассказали! Как по мне, мы дали им больше, чем какие-то мутные истории.

Столько лет она уже тут, нигде больше не бывала, а всё равно считает, что здесь — чужбина. Говорю: что ж ты такая робкая курица! Это единственное место на земле, где ты не должна чувствовать себя чужой. Она говорит, раньше так и было, но сейчас она чувствует себя старой служанкой в большом доме, которой позволено заниматься чем угодно, лишь бы не путалась под ногами. У меня больше нет сил ее переубеждать. Болезнь меня подкосила, и теперь я обуза для той, кто составила счастье моей жизни. Это я превратил ее в служанку, которая убирает за мной больным, а взамен получает лишь попреки. Говорение отбирает у меня силы. Зачем она меня

заставляет? Почему не оставит в покое?

«Расскажи о своей родине, — просит она, — той маленькой Унгудже из давних воспоминаний. Подлащивается осторожно, чтобы я ничего не заподозрил. — Просто расскажи им о зданиях, улицах, море, словно гид рассказывает туристам. Что там два сезона дождей, длинный и покороче, и рыбный рынок, который в любой сезон лучше обходить стороной».

Я ничего не помню, говорю, но это неправда. Я многое помню и вспоминаю это каждый день, как ни стараюсь забыть. Я думал молчать об этом, сколько хватит сил. Думал, начну рассказывать и не смогу остановиться. Или не буду знать, как сказать: «не спрашивайте меня пока об этом». Или: «не могу сейчас это рассказать». Думал, дождусь момента, когда эти вещи перестанут ощущаться трусостью и позором, и тогда скажу, но этот момент не настанет. Чтобы понять это, понадобилось неожиданно много времени.

Всё случилось очень давно, и сейчас я запутался в молчании и лжи. Нас постоянно уличают в лжи и приукрашивании, не верят басням о наших толерантных, улыбчивых, живущих в согласии древних цивилизациях. Именно это я и хотел бы поведать своим детям, рассказывай я им о том

маленьком крае. Что все мы жили мирно, уважительно по отношению друг к другу, хотя среди нас были представители многих религий и рас, — так умеют только мусульмане. А иначе я не знал бы, что им сказать. Я не стал бы рассказывать им о злобе, которая в любую минуту готова прорваться наружу, о планах жестокой расправы, которые дети порабощенных вынашивали в отношении султана и всех, кто их притеснял и презирал. Не стал бы рассказывать о наших распрях и о том, что женщины у нас товар — дяди, братья, зятья продают их, покупают, передают по наследству. О том рассказывать, что женщины сами охотно считают себя пустым местом. И о том, как мы измываемся над детьми. Ну почему мы такие лживые, лицемерные сволочи?

* * *

Как? Она хочет, чтобы я рассказал, как сбежал. Обернулся птицею морскою и взлетел. Перекинулся гадом морским и пробирался по дну океана, по мелким камушкам и валунам. Из ошметков своей трусости собрал плот и уплыл. Как иначе я мог сбежать с острова? Спрятался на судне, понятное дело. Точнее, попытался, но матросы сцапали меня, едва я высунул нос из трюма. Видимо, сра-

ботала сигнализация. На тот момент прошло уже три дня. Всё благое бывает связано с цифрой три, и на третий день я выбрался на воздух. Мне вручили фонарь и отправили обратно в трюм убрать за собой. В те дни, поговаривали, безбилетников выбрасывали за борт, но мне повезло: на судне не хватало рук, и меня взяли в команду. Так я и сделался моряком. Пароход назывался «Ява стар». Мое первое пристанище в море.

Дальше было легко, потому что мне нравилась работа, нравилась вольная жизнь на судах и в разных уголках мира. Подолгу сидеть без работы не приходилось. Иногда я оседал где-нибудь на несколько недель, а потом находилось новое судно, и всегда хватало на что посмотреть и чем заняться. К моменту, когда я встретил ее, я прожил так пятнадцать лет. Представьте, сколько всего вмещается в пятнадцать лет, — попробуйка перелистни это и начни новую жизнь! Мне было тридцать четыре, вдвое старше, хоть я и сказал ей по первости, что мне двадцать восемь. Не хотел, чтобы сочла меня слишком старым.

Как именно я спрятался? Всё-то ей нужно знать, до последней мелочи. Не дает опустить ни единой подробности моего трусливого побега. Но я не в силах пережить это опять, таким вот образом.

Десятилетиями я снова и снова проживал этот момент, и сейчас, стоит попытаться облечь его в слова, мозг цепенеет. Всякий раз, разжимая губы, я ужасаюсь тому, что с них сорвется. Она не слушает отказов. Упрямится, говорит: если ты не расскажешь, как спрятался, то откуда нам будет знать.

В общем, я, скрепя сердце и собрав всю свою волю, сел на лихтер, который направлялся к одному из судов на рейде. Эта идея пришла ко мне за несколько дней до этого. В те дни только и разговоров было, что о политике и независимости, воздух гудел от возмущений и протестов. Горячее было времечко: митинги, марши, пространные речи против ненавистной Британии. И в разгар всего этого на остров прибыл огромный авианосец. Это был корабль британских ВМС «Арк Ройял». Таким способом англичане хотели нас утихомирить. Королевский флот прислал большой военный корабль и поднял в воздух пару реактивных самолетов — они пролетели над островом, преодолевая сверхзвуковой барьер и заставляя детей и животных в панике разбегаться. Директорам нескольких благонадежных школ поступили инструкции, и из числа школьников и студентов были отобраны самые

благонравные и тихие для посещения корабля и чаепития на борту. Я к тому времени уже сдал экзамены и окончил учебу, но меня тоже отобрали от нашего колледжа, за почтительность и благонадежность.

Вероятно, наши правители посчитали удачной мысль запугать аборигенов демонстрацией военной мощи, а затем утешить их детишек мармеладками, пирожными и печеньем. Только организаторам этих мероприятий было невдомек, что их юные гости, все до единого, свято верили: во все лакомства добавлено что-то свиное. Кому-то так сказали родители, а дальше все подхватили. Харам, они во всё кладут свиной жир. Так что юные гости вообще не притронулись к еде, а те, что посмелее, с гордым видом выбросили ее за борт. Так и вижу, как моряки молча стоят вдоль борта, заложив руки за спину, и смотрят строго перед собой, а сопливые обезьянки воротят нос от их угощения. Мы все как могли боролись за независимость. Однако до банкета нас провели по кораблю. Показали истребители и вертолеты, частью на полетной палубе, частью в ангарах внизу. Некоторым даже позволили залезть в кабину пилота. Если они думали напугать нас своими технологиями и мощью, то со мной

это сработало. Их технологии и мощь повергли меня в страх и трепет. Но кое-какие уголки моего сознания не поддались ужасу. Пока мы осматривали укромные места и закоулки корабля, меня осенило, что на корабле легко можно спрятаться.

К тому моменту я уже несколько недель размышлял, как улизнуть, но размышлял чисто теоретически. Если я хочу убежать, то каким образом? Как это можно осуществить? Посещение военного корабля подало мне конкретную идею. Несколько дней спустя на рейде бросил якорь большой сухогруз, и я сумел пробраться на борт. Грузчики с лихтера, которые делали первую утреннюю ходку, наверняка прекрасно знали, что я задумал, и лишь хмыкнули про себя, когда я сказал, что у меня на судне есть дело. Стоило мне объявиться на пирсе, они сразу поняли, что́ у меня на уме. Я совершенно не походил на тех оборванных парней с лоснящимися, как у тюленей, телами, которые ошивались в доках и мотались на суда для погрузки-разгрузки. Я же был студент, без двух минут учитель, тощий, как глиста, и одет соответствующе. И весь ужас, который я испытал, когда лихтер отошел от берега, наверняка был написан у меня на лице.

А погнала меня прочь, заставила совершить

этот поступок, в который мне теперь с трудом верится, боязнь оказаться посмешищем, а еще возмущение, что меня бессовестно обманули и лишили возможности быть счастливым. Про то — в другой раз, сначала расскажу об этом. Или она расскажет. Она в курсе. Места себе не находит оттого, что я был женат на той женщине, а потом сбежал. И бросил ребенка. Говорю, моя жена — ты, а вы мои дети. Но она говорит, это не по закону. Какому закону? *Она* моя жена. А по закону моя жена — та женщина, от которой я сбежал. По глазам вижу — злится. Меня обманули в юности, вынудили так поступить. Обвели вокруг пальца. А сами хотели хорошенько надо мной посмеяться. Меня обманули. Долгие месяцы, когда я дрожал от страха и сомневался, правильно ли я поступил, мне помогал гнев. Что вы ко мне всё время цеплялись, мерзкие склочные ублюдки? Лишали всех моих скромных радостей? Гнев помог мне хранить мой секрет и долгое время помогал не поддаваться раскаянию и стыду.

Потому что стоило судну запустить двигатели, меня охватили раскаяние и стыд. Что скажут люди? Что скажет отец? Со злорадством накинется на моего брата Кассима и скажет: вот чего ты

добился. Вот что *khinzir*[6] в колледже сделали с мальчиком. Это они подучили его сбежать. Что с ними со всеми станет? Но я был очень разгневан и научился подавлять свой стыд.

Всё было новым, мир был таким огромным, и я в нем затерялся. Изо всех сил старался затеряться, но труднее всего было перестать трусить. Понемногу я привык — просто плыл по течению, куда меня несло, позволял событиям идти своим чередом. И нередко всё было не так уж плохо. Так я прожил довольно долго, и моя родина всё больше от меня отдалялась. И сам я тоже старался держаться от нее подальше. С наступлением независимости там на годы воцарились насилие и жестокость, что не способствовало желанию вернуться. Ничего забыть не получалось, а труднее всего было забыть ее и убедить себя в том, что, бросив ее, я поступил правильно. Порой — часто — я спрашивал себя: а что если я насчет нее ошибся и этот ребенок действительно наш, а рос внутри нее так быстро, потому что уродец? А ведь если я насчет нее ошибся, она, наверное, сильно беспокоилась из-за моего исчезновения и ужасно обиделась, когда поняла, что я ее бросил. Иногда

---

[6] Примечания: 6
Свиньи (*араб.*).

я прикидывал, сколько лет теперь ребенку, и пытался представить, как он может выглядеть. Тогда приходилось снова себя накручивать, и во мне опять вскипало то возмущение, что некогда погнало меня прочь. Иногда я воображал, как вернусь, а она меня не узнает и будет недоумевать, отчего я так пристально на нее смотрю. Так я жил много лет: нигде надолго не задерживался, бороздил моря там, куда меня забрасывала работа, и не имел ни малейшего представления, как изменить свою жизнь. А потом встретил в Эксетере ее, и вдруг впереди что-то забрезжило.

Она говорит: «Про Эксетер они знают. Об этом мы им сто раз рассказывали. Расскажи лучше о тех временах, когда ты был отщепенцем и скитался по миру». Глупая упрямая курва! Стоит выключить машинку — она подходит и слушает, а потом велит: скажи побольше об этом, скажи побольше о том. А нету ничего больше, самое-самое они знают, а что не знают, то гнусное и ничтожное. Теперь знают и большой секрет, который я хранил, думал, для их же блага. Я убежал из дома, бросил жену и неродившегося ребенка — как ни крути, преступление довольно серьезное. Мне, надо сказать, тоже пришлось тяжело. Я был гаденышем, маленьким испуганным гаденышем,

и из-за своего поступка лишился самого дорогого. Что там было рассказывать?

Уезжая, я не представлял, сколько всего теряю. Отныне, куда бы я ни поехал, где бы ни жил, от меня ничего не ждали. У меня не было ни обязательств, ни цели. Я никому не был нужен. Мне хотелось вам рассказать, как я потерял родину, а с ней и место в жизни. Каково это — скитаться. Каково быть пришлым на чужой земле. Хотелось поговорить об этом с вами, но слишком много времени утекло, а я так и не научился говорить о таких вещах. Вы бы стали спрашивать еще и еще, а я не знал бы, как это рассказать. Не думал, что затяну с этим так надолго, но уж как вышло. Не мог себя заставить, думал, лучше вам будет не знать. Думал, мы все сможем добиться чего-то нового, лучшего. Ну да хватит об этом.

Она снова включила машинку, положила рядом со мной. «Расскажи еще о Занзибаре, — велит. — А я пойду заварю тебе чай». Впилась, как пиявка, в мою плоть. День и ночь крутится рядом, тянет из меня соки. Лекарства дает, чтобы я не умер и можно было сосать мою кровь. Интересно, что с ними стало, удалось ли пережить убийства и депортацию? Если кто и выжил, то моя стерва сестра. Хватит, не могу больше. Мало я разве

наговорил? Ничего больше о Занзибаре не знаю. Нет для меня больше такого места. Слышу это слово — и поскорее ухожу. Вижу его — и отвожу взгляд или перелистываю страницу. Что еще вам сказать об этой старой сточной канаве?

На автобус до колледжа я садился на углу Холлис-роуд, в те времена это был просто мост над ручьем. С одного конца ручей постепенно засыпали, другим он где-то в отдалении впадал в море. Во время приливов, чего по утрам никогда не бывало, ручей сиял и переливался на солнце. Когда вода уходила, в обнажившемся русле чернели пятна нечистот и людских отходов. Те, кто жил на берегу в Фунджуни, строили настилы над водой, чтобы, не выходя из дома, испражняться прямо в ручей. По берегу ручья автобус ехал с милю до Гулиони, где тоже забирал учащихся. Вскоре после этого выезжали за город, и ощущение было такое, словно выбрались из переполненной комнаты. За Мтони до самого колледжа из окон было видно море. Таким был мой обычный путь до колледжа, и я вспоминал его долгие годы.

Первые несколько недель после побега я испытывал попеременно то злость, то испуг; не то что бы я боялся чего-то конкретного, наверное, просто паниковал. Пугали меня даже люди, что были

вокруг. До тех пор мне не доводилось общаться с англичанами, я и видел-то вблизи только тех моряков на военном корабле да директора колледжа, а у него ни разу не возникало причины обратиться ко мне напрямую. А теперь вокруг меня были эти люди с красными лицами и лживыми улыбками, внушающие страх. При встрече мы уступали им дорогу, не только на том судне — везде. Не знаю, отчего весь мир приобрел этот страх перед ними, только знаю, что я и по сей день от него не избавился. То и дело приходится себя одергивать: не уступай дорогу, не подчиняйся, говори, что ничего не боишься.

Однако ничего плохого со мной на том судне не случилось, а главное, со временем я стал забывать свое безрассудное, подлое бегство. Почувствовал себя в безопасности, большей, чем когда-либо прежде, и мне открылось немало неожиданных удовольствий. Всё было в диковинку: на рассвете видеть приближающуюся сушу, днем входить в огромную гавань, скажем Калькутты или Гонконга, и понимать, что всё это — прибытия, убытия, суматоха — было всегда, даже пока я сидел под деревом фениси и шелушил арахис. Еще было море, такое большое и суровое, искрящееся лютой злобой, не могу описать какое, у меня просто

нет слов. Оно ужасает и в своем неистовстве, и в своей красоте. Море и ужас, который тебя там охватывает, — этого не забыть.

Всё было внове, ничего плохого со мной не происходило, и паника постепенно отступила. Даже работа, которую мне поручили, поначалу была непривычной: мыть туалеты, подметать и скоблить полы, куда-то сходить и что-то принести — грязная работа, увидь меня кто-нибудь из знакомых, я бы со стыда сгорел. Иногда я с улыбкой думал, что раньше счел бы такую деятельность унизительной, но я совсем не чувствовал себя униженным. Офицеры-англичане держались отчужденно, их не удивляло, что я выполняю грязную работу. Этим мне и полагалось заниматься, так что краснеть не приходилось. На том первом судне были не только англичане. Попадались там и малайцы, и филиппинцы, и с двумя из них я подружился. Раджа работал на камбузе, а Элвин — в машинном отделении. Хорошо их помню. Элвин водил меня к себе в отделение — там вращались по часовой стрелке гигантские коленчатые валы, будто пульсировало сердце огромного зверя. Он обожал этот механизм и показывал мне его, словно доверял тайну. В редкие свободные часы, когда мы шатались по портовым

городам, эти двое составляли мне компанию, но по первости разбираться с экипажем и насмешками мне приходилось в одиночку. Потому как если офицеры держались отчужденно и высокомерно, то чины помладше распускали язык и задирались, сыпали бранью и оскорблениями. Они кичились своей грубостью и постоянно поддевали друг друга и всех вокруг. Я не сразу разобрался, что к чему, и поначалу молча сносил обидные слова, но потом, как мог, научился хамить в ответ и старательно делал вид, что такой стиль общения мне привычен. На первом судне я проплыл Бомбей, Мадрас, Калькутту, Сингапур, Манилу, Гонконг, потом Джакарту и снова Сингапур. В Сингапуре мой друг-малаец, Раджа, сошел, и мне удалось устроиться вместо него на камбуз.

В Сингапуре у меня состоялась прогулка, которую я вспоминаю до сих пор. Я был один, шагал по одной из аллей в центре города и вдруг, помню, подумал про себя: я свободен. Не то чтобы я раньше считал себя несвободным, за исключением тех нескольких недель перед побегом, когда меня не отпускало ощущение захлопнувшейся ловушки. Но тогда, в Сингапуре, я ощутил нечто совершенно иное, дотоле неведомое. Я понял, что могу свободно выбирать — желания, работу,

место для жизни. С практической точки зрения это было иллюзией. У меня не имелось ни денег, ни документов, ни ремесла, и всё равно я чувствовал: я свободен. Страх перед миром исчез. Я понял, что никто не сможет снова заставить меня делать то, чего я не хочу. Всё вокруг наполняло меня радостью: виды, запахи, даже толчея. Я даже было принял за дружеский жест попытку выманить у меня деньжат. В ту же ночь судно ушло из Сингапура на Мадрас, Бомбей, Дурбан, Кейптаун, Фритаун и Ливерпуль, и к концу пути я осознал, что полностью исцелился и к старому возврата больше нет.

Можно ведь было что-то сказать, а о чем-то умолчать. Рассказать вам хотя бы что-нибудь. Видимо, мне недоставало мудрости делать что-то наполовину. Когда настала пора признаться вам в своем подлом бегстве, я уже привык жить в молчании, обходить стороной этот пробел в моей жизни. Я совершил дурной, необдуманный поступок, и молчание стало способом утишить воспоминания о нем, не подать вида, как тяжко мне его бремя. Жизнь у нас была насыщенной и, как ни крути, непростой, ваша мать, вы маленькие, место новое, непростое, нужно много работать, а то, что я натворил в юности, мне

самому и расхлебывать. Возможно, я боялся, что вы станете меня стыдиться, если узнаете, перестанете меня уважать. Может, и так, но, думаю, мне проще было молчать и надеяться на лучшее. В общем, своим молчанием я ни в коем случае не хотел вас напугать. Я хотел оградить вас от этого презренного знания, чтобы вы могли смело смотреть вперед, а не вязнуть в постыдных воспоминаниях.

Утром я составил список мест, где пожил за эти годы. Удивительно: стоит заговорить о тех временах — и тянет погрузиться в воспоминания, их, оказывается, много сохранилось, несмотря на все мои старания их похоронить. Иногда, когда работа была завершена, а поступать на новое судно не хотелось, я оставался и какое-то время жил там, куда меня забросило. Так я несколько месяцев пробыл в Дурбане. Там у меня случилась любовь, но задержался я там поначалу не поэтому. На моем тогдашнем судне мне не нравилось, я повздорил с одним офицером, в запальчивости попросил расчет и вскоре уже шагал по улицам Дурбана. Добрался до индийской части города, и мне там сразу понравилось. Привычные кафе и еда. Дома, как у меня на родине, как в Бомбее, в Мадрасе и даже в Коломбо. Муэдзин звал всех

на молитву, и я чуть было не соблазнился, но решил остаться в кафе и выпить еще кружку сладкого чая.

И пока я так сидел, в кафе вошел высокий мужчина приблизительно моих лет. Он бросил на меня взгляд, потом посмотрел снова, как будто узнал. Я заулыбался — понял, что сейчас будет. Он тоже улыбнулся и подошел к моему столику. Спросил, не знакомы ли мы, я ответил, что нет, но он не поверил. Со мной постоянно такое случалось, по всему миру, только не в Англии. Люди регулярно принимали меня за своего знакомого. Так я встретил Ибрагима, и вскоре уже казалось, что мы знаем друг друга давным-давно. Он помог мне найти дешевое жилье, а несколько дней спустя устроил к своему дяде разбирать металлолом. По вечерам мы шлялись по кафе и иногда тайком выпивали пару кружек пива. Он был из религиозной семьи и не хотел смущать родных, употребляя алкоголь в открытую.

Дом у него был большой, под одной крышей проживали два брата с семьями, выходцы из Ирана. Один брат занимался сбором металлолома, у него я и работал. Другой был отец Ибрагима, имам. Тот район Дурбана был так густо заселен индийцами, что без их одобрения там просто не

было шансов найти свободный угол. Так уж им нравилось. Туземцев они к себе не пускали, зато не слишком возражали против арабов, как здесь называли всех остальных мусульман. Их даже власти официально так именовали. Будь ты даже мусульманин-индиец — всё равно араб. Главное, чтобы тебя не причислили к коренным жителям, а то законы к ним суровы, да и кому хочется быть африканцем.

Дед Ибрагима был имамом-исна-ашаритом и по нуждам своей широко рассеянной общины колесил по Южной Африке, отправляя свадьбы, поминки и прочие священные обряды. Ибрагим его почти не застал, но дед в его детстве всё время словно присутствовал рядом. У меня, когда я был маленьким, ничего подобного не было. Я ничего не знал об отце с матерью, не был знаком ни с кем из их родственников и так далее. Но в семье Ибрагима имя деда всплывало ежедневно, а некоторые истории о нем пересказывались так часто, что это превратилось в ритуал. Одну из них я помню до сих пор: о том, как деда срочно позвали к внезапно умершему человеку. Когда он приехал, выяснилось, что человека слишком быстро похоронили. Наутро после похорон его родные увидели, что насыпь над могилой сдви-

нута, и, испугавшись, что могилу осквернили, вскрыли ее. Тело было вывернуто из углубления, в которое, согласно обычаю, его уложили набок, рот покойного оказался набит землей, — так они поняли, что похоронили его, когда в нем еще теплилась жизнь, и он, очнувшись, отчаянно пытался не задохнуться. История произвела на меня сильнейшее впечатление, и, когда я ее вспоминаю, я отчаянно пытаюсь не задохнуться.

Когда дядя Ибрагима узнал, что я умею читать и писать, он перевел меня в контору на первом этаже дома. Обед мне присылали сверху — так и я увидел сестру Ибрагима и влюбился в нее. Дело было, конечно, безнадежное. У них клан, а я моряк-отщепенец, которого случайно занесло в эти края, да и знал я уже, к чему приводит игра в гляделки с дочкой богатого торговца. Мы с ней и словом не перемолвились, но Ибрагим всё равно прознал про наши робкие улыбки и огонек, вспыхивавший в ее глазах, когда она приносила мне миску с едой. Видимо, такие вещи всегда очевидны, и лишь те двое думают, что им удается сохранить всё в тайне. Ибрагим решился рассказать мне о своей матери. Думаю, таким образом он хотел меня предостеречь, и я внял предостережению: незамедлительно бросил

работу в их семейном бизнесе и в тот же день съехал с квартиры. И отчалил из Дурбана, как только подвернулась койка на судне. Вот что Ибрагим рассказал мне о своей матери, и с тех пор Дурбан для меня совершенно необъяснимым образом связан с этим рассказом.

С его матерью, сказал он, иногда творилось странное. Разум ее вдруг уплывал, глаза делались пустыми и бездонными. Она ломала вещи и калечила себя. И непрерывно говорила, нормальные слова вперемешку с тарабарщиной, из-за чего ее почти невозможно было понять. Случалось это приблизительно раз в три месяца, внезапно, ни с того ни с сего. Когда на нее находило, она совершала одни и те же действия, но каждый раз по-разному. Бывало, ломала вещи молча и только смотрела немигающим взглядом, а иногда ничего не ломала и лишь говорила без умолку.

Как только проявлялись первые признаки ее странного состояния, ее дочь (та, что мне приглянулась), муж или кто-то из слуг связывали ей руки за спиной, связывали ноги и вставляли кляп. Она не противилась этим мерам — пока ее не уносило слишком далеко и она не переставала себя осознавать. Часто даже сама, когда чувствовала приближение загадочного наваждения,

звала кого-нибудь и просила ее связать. Затем глаза ее делались пустыми, а сознание уплывало. Ее почти не выпускали из дома и не оставляли надолго одну.

Она воспитанная женщина, сказал он, но в таком состоянии, приключись с ней один из ее приступов безумия, могла опозорить себя и семью. Ее так и называли: «бедная безумная Захра». Ей не приходилось объяснять, зачем нужно было ее связывать, затыкать рот, по возможности держать взаперти. Безумие — катаклизм, природное явление, чей смысл заключен в нем самом, ибо оно не служит ни мирским, ни божественным целям. Так порой говорил отец Ибрагима, ссылаясь на своего отца-имама как на автора этой мудрости.

Я понял, что Ибрагим предупреждает меня, просит не нарушать устоявшийся уклад его семьи и не навлекать на них позор, заглядываясь на его сестру. Тем же вечером я с ним попрощался и подался в доки, как портовый босяк давних времен. Апартеид тогда уже цвел пышным цветом, но нас, моряков, особо не трогали, к тому же у меня были охранные документы от британского правительства, а с ними не страшен ни джинн, ни ифрит, не говоря уж об африканерах. Дни напролет я

слонялся по улицам Дурбана, избегая тех мест, куда мы ходили вместе с Ибрагимом, и снова чувствовал себя освободившимся от презренного людского ханжества. «Видимо, — говорил я себе, — я питаю слабость к взглядам украдкой и долгим трепетным взорам, а на них мастерицы лишь дочки торговцев, сызмальства запертые в четырех стенах во избежание чего-нибудь предосудительного». Мне жаль было лишиться этой радости, обретенной в Дурбане, но больше всего было жаль нашей с Ибрагимом дружбы. Прежде я даже подумывал, не обратиться ли к нему за помощью, чтобы тем или иным способом остаться в Дурбане и положить конец моим скитаниям. Способ обычно всегда находился, но, когда он рассказал о своей матери, я понял, что в этот раз не судьба.

Она велела продолжать рассказывать, потому что мне полезно, но побольше говорить о Занзибаре. Про Дурбан, дескать, очень интересно, но им всем больше хотелось бы послушать про Занзибар, а не про эту потаскушку, дочку торговца. Я рассердился, а поди не рассердись, когда эта курва всё время пилит. «Оставь меня в покое, — сказал я ей. — Не хочу про Занзибар, ни про что больше не хочу». Швырнул машинку — думал, разобьется, и

она оставит меня в покое, но силенок недостало, и машинка уцелела, снова лежит рядом. О Мариам, не хочу больше вспоминать о том месте! Я помнил о нем каждый день все эти годы, даже когда о нем не думал. Не хочу думать о женщине, которую бросил, и о том, что ей довелось вынести, о ребенке — каким он вырос и что обо мне думает. Не хочу думать о своей матери — я так и не сказал ей, как мне горько, что из-за нас ее жизнь была такой безотрадной. Не хочу думать о том, что с ними стало и что они думали про меня, когда их мир полетел в тартарары. Давай лучше я расскажу, как легкий бриз колышет деревья на закате или как перешептываются в ранний час тихие переулки? Не хочу думать о том, что причиняет мне боль. Выключу сейчас эту штуковину, и чтобы никогда больше ее не видеть!

Она настаивает, чтобы я продолжал. Уговаривает попробовать. Говорит, я не понимаю, как мне это помогает, — тоже мне терапевт нашлась! Я согласился наговорить в эту штуковину еще один раз, и на этом всё, что бы она там себе ни думала. Собирался рассказать о ней, моей надоеде и зануде, о том, как вовремя она меня нашла и каким счастливым стал для меня день нашей встречи. Но не знаю, с чего начать. Сказать, какая она была

красивая, когда я ее увидел, и как заразительно смеялась? А надо ли? Пока не встретил ее, я не осознавал, как бестолкова и одинока моя жизнь отщепенца. Надо ли объяснять, какой радостью стали для меня дети и как пусто мне было бы без них и без нее? Что я не могу представить без нее свою жизнь? Всё это она знает.

Вспомнил, как она выглядела при первой нашей встрече, и в памяти вдруг всплыли другое место, куда меня однажды занесло, и другая женщина, которую я недолго любил. Наверное, это неизменно случается с тем, кто ведет неприкаянную жизнь. Он видит женщину, которую может полюбить, ради которой может оставить странствия, и это как обещание отсрочки приговора — видимо, это и случилось со мной в Порт-Луи. Я годами о ней не вспоминал, но, когда впервые увидел Мариам в Эксетере, вспомнил. Что еще удивительнее, приемная мать Мариам оказалась с Маврикия, а та, о которой я вспомнил, тоже была с Маврикия. Это случилось несколькими годами раньше, в Порт-Луи, куда мы зашли за партией сахара по пути в Бристоль. На Маврикии я тогда оказался в первый и в последний раз.

Груз задерживался, я вышел побродить по городку и совершенно им очаровался. Он был

чрезвычайно похож на мою родину. О ней напоминало многое: вид домов, фрукты на рынке, толпа возле мечети. Я не мог остановиться и выискивал всё новые совпадения. На пляже Порт-Луи я увидел старика, сидящего среди воняющей на солнце рыбьей чешуи, и стоял некоторое время, пораженно наблюдая, с какой знакомой ловкостью он орудовал иглой, сшивая парусину. Бродил я долго, пока не обнаружил, что случайно вышел за пределы города и надо возвращаться. Пересекая проселочную дорогу, я увидел, что навстречу кто-то идет. Я остановился и отступил назад, и тот человек сделал то же самое; зрелище вышло забавное: оба одновременно взяли и попятились с дороги. Человек засмеялся и помахал рукой, я помахал в ответ. Мы двинулись навстречу друг другу и встретились примерно посреди дороги. Я собирался узнать у него, где порт, хотя мне, в общем-то, было всё равно. При том образе жизни, который я тогда вел, как-то перестаешь бояться заблудиться. Узнав, что я иностранец, человек обрадовался и сказал, что порт совсем в другой стороне, о чем я и сам успел догадаться. Он сказал, что идет в город и что, если хочу, мы можем пойти вместе. Мы пошли рядом, болтая самым приятельским образом. Он сказал, что

я похож на маврикийца, я сказал, он тоже, мы расхохотались и пожали друг другу руки.

Он проводил меня до самого порта. Уже стемнело, когда мы пришли, и ворота оказались заперты, а охранник сказал, что до утра моторок не ожидается. Мой новый друг, звали его Паскаль, предложил переночевать у него, а на судно вернуться утром. Как я уже говорил, при такой бродячей жизни ко многому начинаешь относиться проще. Паскаль жил в маленьком бунгало, мы вошли в него через заднюю дверь, из сада. Я уловил запах цветов, а наутро увидел прелестный сад. Друг объяснил сестре, кто я и откуда взялся, она улыбнулась и поставила перед нами кое-какую закуску. Ужин у них обычно легкий, сказала она, извинившись за скромный стол. Я запомнил это, потому что ни раньше, ни потом не слышал больше такого выражения — «скромный стол».

Ее звали Клэр, и она была красивая, хоть и не такая красивая, как эта заноза при нашей первой встрече. Мы втроем поужинали и потом долго болтали. Они рассказывали мне о своем отце, которого называли Сэр, как будто это было его именем, и о матери, которая совсем недавно умерла. Сэр служил старшим клерком в одной из крупных фирм Порт-Луи, а еще был известным

ботаником-любителем. Именно он вырастил сад, которым я смогу полюбоваться утром. Мне захотелось увидеть сад немедленно — так волшебно они описывали всевозможные цветы и их ароматы. Но они сказали: «Нет, подожди до утра. В это время он особенно прекрасен».

Той ночью я долго не мог уснуть, думал о многом, но больше всего о Клэр, и утром, побывав в саду, вместе с Паскалем неохотно отправился в порт, так с ней и не повидавшись. Но груз по-прежнему задерживался, и я позвонил по номеру, который Паскаль мне оставил, и к обеду уже снова был в доме своего нового друга. Когда, ближе к вечеру, настала пора прощаться, я с грустью пожал Клэр руку. Она тоже выглядела огорченной. Я пообещал писать и когда-нибудь снова приехать в Порт-Луи. Тогда мне казалось, что я не смогу жить, если больше ее не увижу. Но так и не написал и ни разу в Порт-Луи не вернулся.

Когда я в третий раз увидел Мариам на той фабрике, я вспомнил о Клэр, как много лет я думал о ней и жалел. Бог знает что эта старая заноза себе надумает, когда это услышит. Я не вспоминал о Клэр много лет. Они и не похожи вовсе, ничего такого. А вспомнилось мне ощущение — возможность счастья, и на этот раз я не собирался

хлопать ушами и его упустить.

Анна вставила кассету в стереосистему, и из динамиков раздался голос отца — словно он выступал на публике, по радио. И всё же она приглушила звук, будто не хотела, чтобы их услышал кто-то еще. Странная гордость и внезапный восторг охватили ее. Голос отца звучал неожиданно ясно. Она думала, он будет утомительно разглагольствовать или шептать, бурчать и бубнить, как часто делал в последние месяцы. Боялась, что голос его будет звучать надломленно, слезливо, и кассету запускала с содроганием. Стоит ли снова переживать эту муку? Но его голос приятно удивил, а сказанное им совершенно ее обезоружило. Голос отца почти всё время звучал отчетливо и ровно, и даже в трудные моменты сохранял спокойствие и выразительность. Местами у него проскальзывало то, чего раньше она у него не слышала, — смиренность и задумчивость, очень ей близкие. Они были созвучны некоторым ее размышлениям, но прежде она таких интонаций у отца не замечала. Такой беспощадной честности вообще мало от кого можно было ожидать, а от ее отца в особенности. Он наставлял, увещевал, подбадривал, командовал, при необходимости. Но не сидел и не предавался рассуждениям о

своих промахах и сожалениях и о блаженных моментах отсрочки приговора.

Хотелось еще послушать, как он в одиночестве гулял по Сингапуру или бездумно бродил по Порт-Луи. Вообще хотелось побольше о нем узнать, жаль, что кассета кончилась. Разрыв с Ником погрузил ее в уныние, а потом вдогонку пришла весть о смерти Ба, и это ее вдруг подкосило. Она думала, что будет к этому готова, но, когда Мариам сообщила ей по телефону, завыла в трубку, словно одна из тех умалишенных, что показывают в новостях. Она слушала голос отца на пленке и понимала, как ужасно ей его не хватает, она плакала и скорбела о нем — до чего грустно, что он столько лет прожил под гнетом вины и угрозы позорного разоблачения! Поднялась с кассетой наверх и прослушала ее еще раз, в магнитоле, через наушники. Волнение немного улеглось, и на этот раз она уловила и длинные паузы между словами, и отдельные заминки. Закрыв глаза, она представляла, как он сидит в своем кресле и наговаривает запись, как вдруг швыряет магнитофон, если он и правду его зашвырнул, а не сказал это, просто чтобы прослыть вздорным стариканом. Представляла, как мать его уговаривает, а он ворчит.

Она потянулась за телефоном — позвонить матери и сказать, что послушала кассету. Она не звонила уже несколько дней, хотела сначала послушать запись. Но в трубке были только длинные гудки. Она откинулась в кресле и снова представила себе то, о чем рассказывал отец; получилась вереница мелькающих картинок, в основном невнятных и смазанных, — для их ясности и четкости недоставало информации. Мать, Мариам, рассказала им, как он учился в колледже и как смотрел из своей кладовки на ту женщину. Снова и снова она описывала, как одинокий юноша смотрит сквозь окошко в стене, поверх верхушек деревьев, на сверкающее вдали море. По ее словам, это было счастливое для него время, может, и так, только от этого описания сквозило одиночеством. Женщину и террасу представить не удавалось. Худышка, наверное, совсем недавно расставшаяся с детством. Надо будет почитать и полистать картинки, чтобы иметь представление, во что она могла быть одета и как могла выглядеть терраса. Сразу стоило этим заняться, как только Ма сообщила им, что он с Занзибара, и рассказала о женщине, которую он бросил, — бедную беременную, печальную потаскушку. Это произошло всего за несколько

недель до его смерти, а ей тогда и без того хватало забот, не до Занзибара было и не до женщин на террасах. А потом его смерть и материнское горе заставили ее более трезво взглянуть на крах отношений с Ником. Тоска отступила, зато явственно обозначилось всё, что ей не нравилось в нем и в себе рядом с ним. «Один огонь другого выжжет жженье»[7], постепенно.

Она прошерстила интернет, прочла все завиральные описания праздников, отелей, экскурсий, фестивалей и поняла, что по-настоящему ей хочется узнать про совершенно другое место. Скорее всего, Джамал, с его-то методичностью, уже изучил половину соответствующей литературы, но у него под рукой университетская библиотека и свободное время в распоряжении. В общем, оправдала себя.

Она снова представила всё, о чем рассказывал Ба, и поняла, что ей ужасно нравится обдумывать его слова таким вот способом, через образы. Представила ту поездку на автобусе в колледж, которую он так часто вспоминал, — интересно, чем она ему так запомнилась? Может, дело было в картинке, ярко запечатлевшейся перед глаза-

[7] Примечания: 7

Не вполне точная цитата из трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта», акт I, сцена 2 (пер. Т. Щепкиной-Куперник).

ми: раннее утро, автобус, — а может, в контрасте между черным зловонным руслом ручья и морем вдали, с которого, стоит выехать за город, через открытые боковушки автобуса веет бризом. Может, запомнилась не картинка, а ощущения. У нее самой были такие памятные образы, которые вдруг всплывали из ниоткуда: перекресток возле собора в Норидже или железнодорожная платформа в Лондоне под вечер, но она никогда не думала о них с такой острой печалью, да и, наверное, ни разу ни о чем так не тосковала. Потом она представила, как он шагает по аллее в Сингапуре и вновь переживает нахлынувшее ощущение свободы, потом как стоит, облокотясь на релинг, пока их судно входит в гавань Кейптауна. Всё это, конечно, иллюзия, но она могла понять, до чего захватывающим был тот миг. Представила его в колледже — тощий юноша без пиджака, идет по двору среди таких же юнцов. Она и знать не знала, что он учился в колледже, знала только, что когда-то был моряком, а на ее памяти он всю жизнь работал механиком на фабрике электроники. Его страсть к чтению, его знания она воспринимала как некий побочный продукт, стороннее увлечение, на которое в молодости не хватало времени. Она-то считала, что

их с Джамалом университетское образование — новая высота в истории их семьи.

Дорогой Джамал. Как твоя борода? Быстро растет? Кстати, чтобы ты мог считаться достаточно набожным, она должна отрасти минимум на десять сантиметров ниже подбородка. Ты знал об этом? Хотя вряд ли у тебя она так вымахает, сомневаюсь. Послушала вчера кассету Ба, дважды. Думала, там будут хрипы и бурчание, — у него отлично получалась вся эта жуть. А он говорит внятно и совершенно здраво, и прямо растрогал меня рассказом о своей молодости и скитаниях по миру. О свободе, которую ощутил в Сингапуре. Как думаешь, он хрипел и бурчал нарочно, чтобы нас отпугнуть? Чтобы мы к нему не лезли? «Отстаньте от меня, щенки». Хорошо, что я уже знала *секрет*, перед тем как начать слушать, а то так бы и сидела и с ужасом ждала, когда он выскочит из кустов со своей невыносимо ужасной историей. Это и вправду невыносимо: бросить бедную женщину, почти еще девочку, а после в оправдание придумать заполошную, паникерскую историю про *заговор*, будто на него хотели повесить чужого ребенка. Однако могло быть и хуже. Как думаешь, почему он на самом деле сбежал? Возможно, ему просто захотелось уехать. Навер-

няка никакой трагедии, ничего эдакого не было. Не представляю, как Ма его на это сподвигла, и чтобы он не бурчал и не ругался. Задачка точно была не из простых. Как тебе те двое сказочных персонажей из Порт-Луи? Думаешь, правда такое было? Паскаль и Клэр, потенциальная дружба и зарождающаяся любовь, обе отвергнутые. А дальше годы скитаний старого морехода, пока в Эксетере ему не встретилась Ма. Хотя придумано было здорово, да? Мне понравилось, как он бродил по острову, не боясь заблудиться. Наверное, это самый длинный имейл в моей жизни. Нельзя так. Пыталась дозвониться до Ма, когда дослушала кассету, но она не ответила — наверное, отчалила в «Маталан» за обновками. Целую.

Джамал *в ответ*: Говоришь, хочешь засадить Ма за разбор документов? Когда в следующий раз будете общаться, спроси у нее фамилию Виджея, бухгалтера. Может, окажется, что он действительно основал свою фирму, и тогда не составит труда установить его юридический адрес. Это я могу взять на себя, мне иногда бывает нужна передышка от напряженных умственных потуг. От Ма я пока тихарюсь. Она грозится приехать в Лидс, а я боюсь, что она увидит грязь и беспорядок и кинется меня перевоспитывать. Выяснилось, что

кто-то, ума не приложу кто, сказал ей про Лину, и она теперь, наверное, изнывает от любопытства. Видимо, в той безбожной богадельне, где она вкалывает задарма, ее маловато загружают работой.

Анна: Приехать она грозится, просто чтобы тебя попугать. Не думаю, что она сейчас куда-то сорвется. Она играет в пьесе, которую женский кружок ставит в Центре, и пропадает на репетициях. Пьесу они написали сами, и у нее роль женщины-врача, кажется, упрямой испанки по фамилии Мендес. Пьеса вроде как про приют, и она говорит, в ней есть всё: рождение, смерть, свадьба и даже песни. Рассказала мне, какие там роли и кто кого играет, но там надо знать весь сериал с самого начала — кто из них Халима, кто Лиди, так что избавлю тебя от подробностей. Спросила у нее, как фамилия Виджея, она сказала: Гопал. Сначала немного напряглась, с чего вдруг такой интерес, но я сказала, что мы, когда общались после похорон, подумали: а не удастся ли разыскать ее приемную семью, если она не против. Оказывается, она вроде уже нашла его юридический адрес. «В. К. Гопал, бухгалтерские услуги». Кто-то из Центра подсказал ей, как искать на сайте Регистрационной палаты, она нашла и думает, что это он. Он, наверное,

уже совсем древний, но она говорит, ему около семидесяти пяти, а для него это не тот возраст, чтобы не работать. Она еще не проверяла, потому что ужасно занята (говорю же), так что, думаю, неплохо бы нам собраться на выходных и устроить небольшое совещание. Может, съездим в Норидж, поглядим спектакль, а затем обсудим дальнейший план действий? Одной ей, наверное, страшновато. Целую.

Анна, *позже*: События набирают ход. Во-первых, но не в-главных, спектакль состоится в эту пятницу, и Ма будет счастлива тебя видеть, как ты сам прекрасно знаешь. Это последняя пятница четверти, и я еле отговорилась от всех праздничных мероприятий в последний учебный день перед Рождеством. Во-вторых, мы с Ма только что разговаривали — ей пришел ответ от кузена Динеша, того мерзавца, что домогался ее много лет назад. Он передал ее запрос, и миссис Феруз Гопал согласна поговорить, но от встречи отказалась. Мистер Виджей Кришна Гопал сейчас на пенсии и хворает, и волновать его совершенно ни к чему. Миссис Гопал назначила время, когда ей можно позвонить: суббота, два часа пополудни. Ма — это какая-то новая Ма, ей-богу, — немедленно набрала номер и поговорила с Феруз. Не верится,

правда? Она ведь всегда побаивалась телефона. В общем, с помощью какой-то древней магии, вероятно слез и смиренной мольбы о прощении, им удалось примириться, и Феруз всё же согласилась встретиться. Думаю, отчасти поспособствовали и дети, то есть мы с тобой. Так что в субботу ни свет ни заря семья иммигрантов Аббас отправляется в Эксетер. Расписание поездов я уже посмотрела. Не то чтобы Ма нуждалась в нашей поддержке и всяком таком. Нашей задачей будет просто отвлекать на себя огонь неприятеля. И заодно выясним, есть ли там чего выяснять, а это уже кое-то. Эта четверть в школе прошла отлично. Мне достался мой любимый класс, дети там без ума от Китса. И рада сообщить, что моя личная мелодрама здесь меркнет с каждым днем. Совсем скоро я и думать забуду об этом придурке. Большой привет Лине! Целую.

Джамал, *почти сразу же*: Браво! Долой мелодраму. Ты два дня ничего не писала. Не знаешь разве, что людям, которые целыми днями сидят за компьютером, нужны имейлы, чтобы не свихнуться? Yallah, едем в Эксетер.

* * *

В помещении, где сейчас размещался Центр для беженцев, раньше, вероятно, находилась чья-то скромная контора. Внизу были две большие комнаты, наверху — несколько офисов. Под спектакль отвели дальнюю комнату, а в ближней, в которой обычно располагалась приемная Центра, развернули торговлю напитками и едой. Комната, отданная сейчас под самодеятельный театр, по очереди служила то игровой, то местом проведения встреч и всяческих волонтерских мероприятий, то даже концертной площадкой.

Спектакль начали в три пополудни, а закончили около четырех. Стулья составили неровным полукругом, освобождая место в торце комнаты рядом с большими дверьми. Сразу возле дверей стояла ударная установка. Комната была заполнена женщинами и детьми, многие уже сидели на местах, а возле стен, небрежно привалившись, стояли несколько мужчин, делая вид, что просто заглянули на минутку. Судя по лицам, публику составляли преимущественно выходцы из Африки и Азии, и одна-две семьи были из Центральной Европы. Многие, видимо, были знакомы между собой. Джамал из профессионального любопыт-

ства пообщался с ними и выяснил, что больше всего тут сомалийцев, эритрейцев, афганцев и румынских цыган. Взрослые сновали туда-сюда, дети вертелись под ногами, все громко смеялись и разговаривали.

Наконец свет погас, и на балке у них за спиной вспыхнул прожектор. Он осветил молодого парня, который проскользнул в зал и теперь восседал за ударной установкой. Зрители тут же захлопали, а парень расплылся в улыбке и приветственно помахал палочками. Зажглись новые огни, и пустое пространство превратилось в сцену. Все роли исполняли женщины и дети. Пьеса состояла из серии рассказов: женщины, одна за другой, говорили о том, как однажды их жизнь перевернулась с ног на голову. Среди рассказов были и трагичные, и смешные, а порой в них вплеталась песня под аккомпанемент флейты, на которой кто-то невидимый играл за спинами зрителей. Ударник вступал в напряженных моментах и при смене эпизодов. Суеты в зале стало меньше, хотя люди по-прежнему входили и выходили, а дети то и дело порывались выскочить к актерам.

По мере того как развивались события в пьесе, хождения постепенно прекратились, а мужчин в комнате прибавилось. Ма играла врача, которая

сурово просвещает мамочек насчет здоровья, а также насчет устройства современного мира, который дал им приют. Некоторые цифры и статистические данные звучали знакомо, нечто подобное Анна временами слышала от Джамала. Она покосилась на лукаво улыбающегося брата. «Пропагандист», — прошептала она. На самых важных репликах актрисы обращались к залу, и зрители щедро одаривали их аплодисментами, а ударник в знак поддержки отбивал на барабанах нарастающую дробь. Кульминацией пьесы была свадьба. Жениху на вид было лет тринадцать, но это никого не смущало. Все женщины в комнате — африканки, азиатки, европейки — бурно разразились радостной песней на сомалийском, которую много недель репетировали. Голоса их звучали так чисто, что аккомпанемента не требовалось. Их лица и лица всех собравшихся лучились улыбками, и в комнате звенело от звуков песни и смеха.

На следующее утро в семь десять они уже выехали поездом до Ливерпуль-стрит, откуда через весь Лондон добрались до вокзала Паддингтон и сели на поезд до Эксетера. В Эксетер прибыли немного за полдень, проехав Англию с востока на запад. За время их короткого путешествия

Мариам говорила мало — по большей части смотрела в окно или с ясной улыбкой слушала, о чем говорят ее дети. Они не мешали ей предаваться размышлениям, но Анне казалось, что, несмотря на внешнее спокойствие, внутри у матери всё бурлит и волнуется. Попыталась представить Феруз, худую, по рассказам матери, и улыбчивую, — интересно, как она их встретит, обиженно или любезно? В любом случае надо доехать и по возможности выяснить как можно больше.

В такси, когда ехали с вокзала, Мариам смотрела вокруг сияющими глазами и вспоминала. Она вернулась в Эксетер впервые с тех пор, как тридцать лет назад внезапно его покинула; город было не узнать. Напряжение, охватившее ее в поезде и особенно перед поездкой в лондонском метро, отступило. Адрес, который дала Феруз, был другой, не тот, где они вместе жили раньше, район оказался богатый, незнакомый, и, когда они подъехали, Мариам утратила дар речи. Перед ними высился большой новый дом с широкой подъездной дорожкой, удобной, чтобы развернуться даже большому автомобилю. Перед гаражом стоял серый «мерседес-бенц». На двери красовался рождественский венок. Их встретила молодая индианка, улыбнулась приветливо, как

знакомым, и представилась: Аша. Пригласила в дом. Прихожая была очень просторная, вверх уходила лестница шириной метра полтора. Повсюду — рождественские украшения. Владелец дома явно был человеком обеспеченным.

Доведя их до гостиной, Аша вошла внутрь и посторонилась, пропуская вперед Мариам, а следом за ней Анну и Джамала. Гостиная была во всю ширину дома, по двум ее сторонам тянулись окна, они выходили на улицу и во двор. У одного из окон стояла худая высокая женщина в платье с цветочным узором — руки по швам, тело натянуто как струна и словно выражает упрек, лицо, всё в морщинах, напряжено. Джамал не ожидал, что Феруз окажется такой хрупкой, такой взволнованной. Он рисовал ее себе полной противоположностью матери, думал, она покрепче, помассивнее. И тут, словно невольно, Феруз улыбнулась, обнажив крупные зубы, но быстро, будто спохватившись, вновь сжала губы, стирая улыбку с лица. Однако почти сразу отмерла, подошла и взяла Мариам за руку. Очень нежно поднесла к губам и поцеловала. В ответ Мариам склонилась и поцеловала ей правую руку, а потом расцеловала в обе щеки. Джамалу доставляло невыносимое удовольствие наблюдать этот обмен знаками

внимания и любви, словно на его глазах завершался какой-то незавершенный обряд.

— Мариам! — Теперь Феруз улыбалась от души. — Мариам, Мариам. Как хорошо, что ты к нам приехала! Но как же долго тебя не было!

— Я ужасно виновата, — сказала Мариам, и глаза ее заблестели. — А ты ничуть не изменилась.

— Не ври, не ври. Я старая, и кости торчат, — отмахнулась Феруз от подхалимажа. — А это, значит, дети. Такие взрослые, такие славные. Кто бы мог подумать. Ханна и Джамал, добро пожаловать! Проходите, садитесь, Аша принесет вам перекусить.

И лишь после всех этих приветствий они заметили мужчину, который тихо сидел возле одного из дальних окон во двор, скрытый тенью полузадернутой тяжелой шторы. Старый темнокожий мужчина с крупной бородавкой на щеке. Виджей. О бородавке Ма ни разу не обмолвилась. Когда они сели, он тоже оказался в их кругу, хоть и чуть наособицу в своем затененном уголке.

— Виджей тоже рад вашему приезду, — сказала Феруз, указывая на молчащего мужчину. — Если бы вы знали его получше, вы бы поняли, что он улыбается. Бедному Виджею понадобилась операция по замене тазобедренного сустава, а после

нее случился инсульт. Он восстановился, но не полностью и сейчас живет на сильном обезболивающем. Он утратил подвижность и не может говорить, но всё слышит. Виджей знает, что вы здесь, и тоже вам рад. Вот, видите, он улыбается. Видите?

Джамал не видел, но всё равно улыбнулся в ответ. Аша принесла поднос с закусками и прохладительными напитками, и, пока они угощались, Феруз рассказывала о болезни Виджея и о том, каково ему приходится.

— Виджей не мыслит себя без работы, — сказала Феруз. — Ты ведь помнишь, Мариам? Сейчас ему семьдесят семь, и всю жизнь он трудился. Представляешь, каково теперь ему, бедному, сидеть сложа руки и переживать, как там без него идут дела в фирме! Теперь всем заправляет Динеш, и у него отлично получается. Фирма большая, очень успешная, но бедный Виджей всё равно переживает. Уж мне ли его не знать! Ничего, зато теперь у него есть возможность наконец восполнить пробелы в чтении. Сейчас он слушает аудиокнигу по истории Гуджарата. Мы ездили в Индию, еще до его болезни, и он был счастлив вновь увидеть родных. Там такие гулянья были, и он, как принц, раздавал подарки. Очень радовался тому, как

изменилась его страна, и сейчас хочет узнать о Гуджарате побольше.

Но расскажи же мне, что ты делала все эти годы, пока пряталась от нас. — Феруз с улыбкой обвела всех троих дружелюбным взглядом, чтобы они ни в коем случае не подумали, будто в ее словах кроется упрек.

Мариам рассказала о Норидже, о болезни и смерти Ба и чуть погодя подступилась к вопросу, ради которого они приехали. Феруз кивнула и пообещала рассказать всё, что ей известно. При усыновлении им выдали метрику Мариам и сообщили, как девочку нашли и что с ней происходило дальше. С этими словами Феруз взяла со столика рядом с собой заранее подготовленный документ и протянула Мариам. Та мельком заглянула в него и положила на колени. Даже беглого взгляда хватило, чтобы убедиться: там только имя, без фамилии.

— Многое я рассказала тебе, когда ты впервые у нас появилась, в твои девять лет, — улыбнулась Феруз. — Возможно, о чем-то я тогда умолчала — посчитала, что ты маленькая и не поймешь, но позже всё равно собиралась всё рассказать. Что конкретно ты хочешь узнать?

— Мне бы хотелось выяснить, кто моя мать,

если о ней вообще хоть что-то известно, — сказала Мариам, беря в руки метрику и поднося ее к глазам.

— По официальным данным, тебя нашли перед дверью больницы, а поиски матери ни к чему не привели, — сказала Феруз и посмотрела на Анну с Джамалом, то ли чтобы смягчить горечь фактов, то ли потому, что не могла сдержать улыбки при виде детей Мариам. — Сотрудница социальной службы, которая с нами работала, сообщила еще кое-что. Оказывается, полицейские в результате расследования так ни к чему и не пришли, потому что предполагаемая мать, судя по всему, исчезла. На обращение полиции откликнулась соседка. По ее словам, у одной семейной пары с ее улицы была дочь, незамужняя, которая забеременела. Они поляки, бежали в войну. Из-за коммунистов не могли вернуться, вынужденно задержались в Англии на несколько лет. Планировали переехать, только соседка не знала куда, в Австралию или Южную Африку. Но точно либо туда, либо туда. При ней они еще колебались, но, скорее всего, в итоге выбрали Австралию. Она видела, как они уезжают, но они так спешили, что ничего спросить она не успела. Это, конечно, не мое дело, сказала она, только дочка их была уже

без живота, а никакого ребенка при ней не было. Люди тогда такие вещи мигом подмечали. Но что между этими событиями может быть связь, она сообразила лишь пару недель спустя, когда полиция обратилась к гражданам за информацией.

Полиция провела расследование, выяснила, где работала та молодая женщина, и опросила некоторых из ее сослуживцев. Те сказали, что она уже несколько месяцев как уехала, а куда — они не знают. Она встречалась с солдатом, не британцем, черномазым, со светлой кожей. Люди тогда не стеснялись так выражаться. Вот что нам рассказала сотрудница соцслужбы, и именно это, по ее словам, было изложено в деле. Черномазый, со светлой кожей — это могло означать что угодно, но мы не собирались разыскивать этих людей и имен спрашивать не стали. Надо было догадаться, что однажды тебе захочется всё узнать, но тогда мне и в голову не пришло. В любом случае это всего лишь домыслы, потому что та женщина исчезла, а полиция так и не сумела установить ее причастность.

Досказав эту невеликую историю, Феруз повернулась к Виджею, словно узнать, не хочет ли он что-то добавить, но на деле, решил Джамал, чтобы спрятаться от потрясенного, напряженного

взгляда Ма.

— Почему вы меня взяли? — спросила Мариам. — Незаконного ребенка от неизвестно кого? Еще и темнокожего. Который не прижился в прошлых семьях. Не страшно было? Почему вы взяли меня?

Ответила Феруз не сразу. Джамал наблюдал за ней. Она снова покосилась на Виджея, словно собираясь с духом и выбирая, какой дать ответ, попроще или посложнее. И в итоге, кажется, выбрала тот, что попроще.

— Нам хотелось помочь, — сказала Феруз, и в голосе ее прозвучала едва уловимая мольба. — Это была его идея. Он сказал: нам в жизни повезло. Мы здоровы, счастливы, обеспечены, и раз уж мы не можем завести собственного малыша, нужно взять какого-нибудь обездоленного ребенка. Мы обратились в службу, и нам дали тебя. Мы решили, что будем заботиться о тебе, как о своей, пока ты не встанешь на ноги. Для меня ты была всё равно что родная.

Мариам встала и подошла к Феруз. Обняла, поцеловала, потом обняла и поцеловала Виджея. Ближе к вечеру они сели на поезд до Нориджа. На прощание Феруз расплакалась, обняла Мариам, и Анну с Джамалом тоже. Каждый пожал без-

жизненную руку Виджея, и Феруз уверяла, что он улыбается. В поезде дети не тревожили Мариам, терпеливо ожидая, пока она соберется с мыслями и захочет говорить.

— Получается, я полька, — проговорила она, удивляясь усложнившейся картине своей жизни.

— Наполовину, — уточнил Джамал. — Не забывай про черномазого.

— Но разве полька назвала бы свою дочь Мариам? — усомнилась мать.

— Польская еврейка — да, — сказал Джамал.

Мариам покачала головой, но Джамал не отступал:

— Если это всё же так, то, с учетом того, что еврейство передается по материнской линии, мы все тоже евреи, и при желании можно будет подать на израильское гражданство.

— Мариам не еврейское имя, — сказала Мариам.

— С другой стороны, — продолжал Джамал, — черномазый со светлой кожей может быть арабом, которого прислали на какое-нибудь спецобучение в одно из военных училищ неподалеку. Мариам звали его любимую мамочку, и твоя мать, когда тебя родила, назвала тебя в ее честь.

— Мариам не еврейское имя, — с убежденностью повторила Мариам. — Я проверяла. Мне уже приходило в голову, что имя еврейское, и я проверила. Еврейская форма этого имени — Мириам.

— В таком случае сомнений больше быть не может. Наша польская бабушка встречалась не с евреем, а с арабом, — сказал Джамал.

Анна: Какая принципиальная оказалась гласная, подумать только! Ма уже вовсю копает, поговаривает о праве на доступ к информации и о том, чтобы затребовать в полиции дело своей предполагаемой матери. Навострилась, козыряет казенными формулировками — «затребовать дело», «предполагаемая мать». Наверное, в своем Центре для беженцев нахваталась. Выяснит имя — планирует проверить списки всех пассажиров, которые отплыли в Австралию и Южную Африку в течение нескольких недель после ее рождения, а потом проследить, куда направилась эта женщина, и найти ее. Сомневаюсь, что она сильно продвинется с полицейскими бумажками. Мать ее совершила преступление, бросив младенца, и дело на нее до сих пор не закрыто. Полиция не выдаст данные по текущему расследованию.

Джамал: Мой друг-писатель из соседнего дома

в восторге от принципиальной гласной. Они с Линой души друг в друге не чают, она даже заявляет на него права. Будь я на месте Ма, я бы не стал докапываться. И, честно говоря, меня не особо тянет разыскивать ту женщину, которую бросил Ба, и ее ребенка. Нашего брата или сестру то есть. Не горю желанием. А ты? Это плохо с моей стороны, да? Но я определенно хочу поехать на Занзибар.

Анна: Мы правда поедем на Занзибар? Или это так и останется миленькой историей, приятной возможностью, счастливой сказочкой? Иногда, когда я об этом думаю, меня охватывает тревога, словно вот-вот наступят новые разочарования, новое отторжение. Не то чтобы я ощущала себя частью того мира или думала, что меня там ждут с распростертыми объятиями, но с тех пор как все открылось, меня словно располовинило между миром реальным, в котором я живу, и другим, воображаемым миром, который тоже реален, но ужасно меня смущает. Может, «располовинило» чересчур сильно сказано — но тянет, тянет куда-то, а я периодически пытаюсь этому сопротивляться. Смотрю сейчас на фотографию эритрейки с дочкой на руках, девочке годика два-три, они стоят на фоне лачуги из жестянок и старого хлама. Обе в лохмотьях, но волосы

у женщины завиты аккуратными колечками, словно она готовилась позировать фотографу. Ей почти удается выдавить из себя улыбку. Я нашла ее в одном из журналов Ника — завалился за письменный стол. Женщина хмурится, вид у нее усталый и измученный, она красивая, но тело ее искалечено и изуродовано голодом и обычаем. Почти наверняка половые органы у нее и дочки изувечены, и обе они голодны. В мире столько чудовищной боли и страданий, а я беспокоюсь о своих пустяковых неурядицах. А ведь стоит хоть немного задуматься — и становится стыдно за свое благополучие. Целую.

Джамал: Вспомни о женщинах из маминого Центра для беженцев. Все не так безнадежно. Кстати, о Ма, последние новости: она подумывает купить тренажер. Ну и дела! Как думаешь, она кого-то встретила? Мы непременно поедем на Занзибар. Хочу увидеть дерево, под которым наш отец лущил арахис, пока рядом бурлил незримый мир. Пишу рассказ. Очередная история об отце. Разумеется, про иммигрантов. А знаешь, как я его назову? «Обезьяна из Африки»!